

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

Пнин. Владимир Владимирович Набоков

#### Предисловие переводчика

Прошло пятьдесят лет с тех пор как «Пнин» вышел первым изданием (Doubleday: Garden City, New York, 1957), и почти двадцать пять как он появился в русском переводе (Ardis: Ann Arbor, Michigan, 1983), и математическая соразмерность этого двоякого события, равно как и семантическая переключка выходных данных (особенно этот мотив удвоения, а также столиц и усадеб), как будто переплетаются в один из тех цветочных рисунков, которые напоминают узоры непревзойденной набоксовской работы. Но в отличие от оригинала, мой перевод вещь скоропортящаяся: тотчас по выходе я обнаружил в нем (и это после десяти, кажется, корректур!) уйму неудачных, несуразных и прямо неверно понятых мест, а Вера Набокова, которая тщательно редактировала перевод, прислала мне список своих поправок, и я тогда же начал их собирать для маловероятного, как казалось тогда, исправленного издания. Спустя пять лет московский журнал «Иностранная литература» попросил позволения перепечатать издание «Ардиса», не без основания полагая Набокова писателем во всяком случае иностранным, и, напечатав, прибавил от себя огромное количество новых ошибок (особенно частых в словах иностранных). Еще через десять лет этот испорченный текст, уже без спроса, вышел книгой в Харькове (где он оказался в обществе двух незнакомцев), но в то время пиратские суда с причудливыми рострами уж давно бороздили ничейные издательские воды во всех направлениях, и новые, переложения «Пнина» стали появляться то тут, то там под разными веселыми флагами. В этих обстоятельствах переиздание старого перевода представилось опекунам наследия Набокова желательным. Юбилей казался удобным для того поводом, а новая серия изданий его книг – наилучшим местом[1].

К первому русскому изданию было приложено послесловие переводчика, где в частности объяснялись главные черты этого не совсем обычного, мнимо-двойного перевода, где русская или русифицированная английская речь героя передается как бы из вторых рук. Это новое издание представляет собою совершенно новую редакцию – поверхностной отделке или основательной переделке подвергся весь словесный состав книги. Мне хотелось добиться большей верности средствами не только дискретными, т. е. словарными (*mots justes*), как оно было в первом издании, но и совокупными – цельными фразами, передающими смысл чужой речи слогом, свойственным автору на родном его языке. Говорю здесь только об одном из условий поставленной себе и целый год упорно преследуемой задачи, а не о ее решении, о котором не могу судить не только из приличия, но и потому, что после стольких помарок, колебаний и новых помарок притупляется способность отличать острое от пресного, холодное от горячего, – притупляется самый вкус. С другой стороны, его остается довольно, чтобы сознавать, что шероховатостей еще много, но, сняв в девятый раз стружку, я объявил ее последней и отнял руку и уж теперь больше ею не проведу из опасения все-таки занозить ее[2].

Здесь я должен особенно благодарить г. Александра Свирилина, который несколько лет тому назад любезно предложил мне свои замечания к первому изданию русского «Пнина». Иные из его вариантов были настолько удачны, что я не мог ими воспользоваться, т. к. неловко было бы присвоить себе чужие находки. Он многожды указывал мне формулы, встречающиеся в других книгах Набокова, и эти варианты, разумеется, всегда оказывались гораздо лучше моих, хотя и не всегда удобоприменимы. Это самое некогда пытался делать и я, выписывая нужные мне образцы самоперевода Набокова (еще до появления в начале 1980-х годов чрезвычайно полезного в этом деле англо-русского словаря «Лолиты» Нахимовского и Паперно), но мой ручной список был по необходимости весьма ограничен. Таким образом, благодаря энтузиастическому и безкорыстному участию г. Свирилина перевод освободился от многих неисправностей, допущенных по недосмотру или незнанию, и в то же время много приобрел в отношении стилистического сходства с оригиналом.

Юбилейные соображения сделали это издание несколько отличным по составу от других в этой серии; так, у него имеется обширное «послесловие». Для чего оно?

Иное дело писать, иное – сочинять, в начальном значении этого слова. Писателей на свете великое множество, но настоящих сочинителей единицы. Набоков возвел искусство соположения составляющих книгу слов, фраз, кусков, глав, тем, пластов, начал и концов на дотолу неведомую и доселе необитаемую высоту. Серьезное чтение

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

его книг таким образом есть искусство того же самого рода, что и сочинение, ибо для настоящего понимания его композиций необходимо после первого чтения еще и еще раз пересекать всю местность романа вдоль и поперек течения еще и еще времени. Это занятие составляет высшее наслаждение читателя Набокова, и наслаждение это находится в родстве или по крайней мере в свойстве с восторгами самого сочинителя. Дело восхитительно трудное, но опыт учит искать и находить пособия. Например, у любой книги Набокова имеется подробный план местности, снабженный указателями направления преобладающего ветра и высоты над уровнем моря, условными знаками и стрелками и крестиками на месте тайников, но для того, чтобы вычертить хотя бы контурную карту, кладоискателю нужно сначала нанести сигнальные точки, которые требуется потом соединить. Для облегчения этого труда и для лучшей ориентации внутри романа и предлагается истолковательный очерк, напечатанный в виде длинного послесловия. Набоков говорил, что космическое отличается от комического одним свистящим звуком. Но то же можно заметить и в отношении умозрительного и уморительного, так как оба эти нитяных строя составляют, в причудливом и искусном переплете, полотно романа. Эти и другие, более важные антиномии нуждаются в указании и объяснении, без которого эта книга – на вид простая, а на самом деле весьма сложной повествовательной постройки, – не может быть оценена по достоинству и даже сколько-нибудь верно понята.

Все те места, которые, по моему рассуждению, могли бы привести в недоумение читателя, не знакомого с американским бытом вообще и академическим в особенности, объясняются в постраничных примечаниях. Я очень хорошо знаю, что примечания вредят повествовательной иллюзии, для которой требуется изоляция от внешнего мира, но пришлось с этим примириться. В конце концов, предисловия и послесловия тоже инородные тела, и они или отторгаются от корпуса романа и пропадают, или приобретают некоторые свойства вымысла, словно хотят быть в свите книги и везде ее сопровождать (у «Лолиты», например, двойной эскорт).

Набоков в каждом предисловии к английским изданиям своих книг считал нужным «послать приветствие венской делегации»; мне же в этом жанре приходится всякий раз касаться вопроса о русском языке. Удивляться ли этому, если вспомнить, что нужно переводить русского писателя непревзойденной силы на язык, который находится в самом жалком состоянии. Профаны полагают, и важно объявляют, точно эта глупость непререкаема, что язык развивается. Но то же можно сказать и об опасной болезни. Вопрос в том, можно ли остановить такое развитие, а вовсе не в том, нужно ли пытаться его остановить. В теперешней письменной речи очевидно не только общее стремление к понижению и оскудению средств выражения, как это было раньше на протяжении полувека, но налицо и явная тенденция к испакощению этих средств. Теперь не мастера «развивают» язык, а воры – одни тащат из чужих кошельков, другие из чужих наречий, и так обогащаются десятилетиями настоянный на сухофрукте советский говор. И в естественных-то условиях за родным языком в письменности нужен глаз да глаз, ухо да ухо, в одной руке Даль, в другой линейка. Но в России произошло такое искоренительное надругательство над языком, т. е. над людьми его в себе «носившими», что и старые книги, изданные по-новому, не остановили и не могут остановить распространение блатной музыки и ворованного американского товара, определяющих теперь норму речи. Кстати о Дале: у меня имеется объявление о новом советском издании его словаря (каталог Торгового Дома «Россия», 2001), где сказано: «Толковый словарь живого великорусского языка, 4 тт. Впервые на русском языке». И это в сущности верно, все дело в том, что этим словом называть: или Даль с его толковым, живым и великорусским, или близь, с ее торговым мертвым домом.

В таких безпримерно неблагоприятных условиях, когда не знаешь, можно ли родной свой язык именовать русским, переводить Набокова есть, конечно, дерзость едва ли позволительная. Мой перевод страдает многими неисцельными пороками, общими обстоятельствам времени и места, и вдобавок моими собственными. Но все же надеюсь, что благодаря долгим усилиям, благодаря пособию лучшего из возможных сотрудников (у Веры Набоковой было безупречное чувство языка), благодаря, наконец, этой возможности исправить и улучшить старую работу, русский язык этого «Пнина» лучше больничного рациона из порошкового молока и киселя из порошка, – надеюсь, я хочу сказать, что здесь угадываются другие реки, другие берега.

Вот как Набоков заканчивает одно свое послесловие: «Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: „Позвольте представить, – сказал попутчик мой без улыбки, – моя фамилия N.“» Если заменить курсив на стенограмму, профиль на силуэт, а прописной латинский «наш» на «буки» – то

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
получится довольно верный реферат сего труда.

Г. Б.  
8 ноября 2006 г.  
Колумбия, Миссури

ПНИН  
Русский перевод посвящается памяти Веры Евсеевны Набоковой

Глава первая

1

Пожилой пассажир у северного окна неумолимо мчавшегося вагона поезда, с которым никто не сидел ни рядом, ни напротив, был не кто иной как профессор Тимофей Пнин. Совершенно лысый, загорелый и чисто выбритый, он выглядел весьма солидно, если начинать осмотр сверху: большой коричневый купол, черепаховые очки (скрадывавшие младенческое безбровие), несколько обезьянье надгубье, толстая шея и внушительное туловище в тесноватом твидовом пиджаке; но заканчивался он как-то неожиданно парой журавлиных ног (они теперь были одеты во фланелевые штаны и перекинуты одна на другую) с нежными на вид, несколько женскими ступнями.

На нем были неподтянутые носки алой шерсти в лиловых ромбах; его консервативные черные оксфордские башмаки обошлись ему едва ли не дороже всей прочей экипировки (включая сюда и вызывающе цветистый галстук). До сороковых годов, в степенную европейскую пору своей жизни, он всегда носил длинные подштанники, концы которых заправлял внутрь опрятных шелковых носков в стрелку, скромных оттенков, которые держались подвязками на его обтянутых бумазеей икрах. В те дни обнаружить полоску этих белых подштанников под слишком высоко вздернутой штаниной показалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, появиться при дамах без воротничка и галстука, и когда высохшей мадам Ру, консьержке в скверных номерах в шестнадцатом округе Парижа, где Пнин после побега из ленинизменной России и завершения высшего образования в Праге провел пятнадцать лет, – случалось придти к нему за квартирной платой когда на нем не было его faux col[3], чопорный Пнин прикрывал запонку на горле целомудренной рукою. Все это переменялось в пьянящем воздухе Нового Света. Теперь, в свои пятьдесят два года, он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и штаны и, закидывая ногу на ногу, прилежно, нарочито, дерзко выставлял напоказ чуть не половину обнаженной голени. Таким его мог бы увидеть попутчик; но ежели не считать солдата, сидевшего в одном конце, и двух женщин, занятых младенцем, в другом, – Пнин в вагоне был один.

Раскроем теперь один секрет. Профессор Пнин по ошибке сел не в тот поезд. Этого не ведал ни он сам, ни кондуктор, который уже пробирался по составу к вагону Пнина. Более того, в эту минуту Пнин был очень доволен собой. Приглашая его выступить в пятницу вечером с лекцией в Кремоне – верст двести на запад от Вэйнделя, академического наместа Пнина с 1945-го года, – вице-президентша кремонского дамского клуба мисс Джудит Клайд уведомила нашего приятеля, что самый удобный поезд отходит из Вэйнделя в 1.52 пополудни и прибывает в Кремону в 4.17; однако Пнин (который, как и многие другие русские, хватал через край во всем, что касалось расписаний, карт, каталогов, коллекционировал их, брал их без стеснения, из одного только полезного удовольствия приобретения задарма, и исполнялся особенной гордостью, когда ему удавалось самому разобраться в расписании поездов) после некоторого изучения обнаружил неприметную на первый взгляд сноску против еще более удобного поезда (отб. из Вэйнделя в 2.19 дня, приб. в Кремону в 4.32); сноска эта указывала, что по пятницам, и только по пятницам, поезд два-девятнадцать останавливается в Кремоне по пути в отдаленный и куда более крупный город, тоже украшенный благозвучным итальянским именем. К несчастью для Пнина, его расписание было пятилетней давности и отчасти устарело.

Он преподавал русский язык в Вэйндельском университете, несколько провинциальном заведении, которое было замечательно своим искусственным озером в центре живописно распланированного кампуса; увитыми плющом галереями, связывавшими отдельные университетские корпуса; фресками, на которых можно было узнать тамошних профессоров, передающих светоч знания от Аристотеля, Шекспира и Пастера группе чудовищно сложенных деревенских парней и девок; и огромным, преуспевающим немецким факультетом, который д-р Гаген, его начальник, самодовольно называл (отчеканивая каждый слог) «университетом в университете».

В осеннем семестре того года (1950-го) в списках на курсах русского языка значились: одна студентка (пышнотелая и серьезная Бетти Блосс) в средней группе;

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
один студент, Иван Дуб (пустой звук, ибо он так и не воплотился), в старшей; и трое в процветавшей начальной: Джозефина Малкин, предки которой были родом из Минска; Чарльз Макбет, сверхъестественная память которого уже одолела десять языков и готова была поглотить еще с десятков, и томная Айлина Лэйн, которой кто-то сказал, что, усвоив однажды русский алфавит, можно в принципе читать «Анну Карамазову» в подлиннике. Как преподаватель, Пнин не мог соперничать с теми поразительными русскими дамами, рассеянными по всей академической Америке, которые, не имея никакого специального образования, умудряются, однако, при помощи интуиции, многословия и какого-то материнского подхода внушить группе ясноглазых студентов магическое знание своего трудного и прекрасного языка: тут тебе и песни о Волге-матушке, и красная икра, и чай. Еще менее мог Пнин как преподаватель дерзнуть приблизиться к высоким палатам новейшей ученой лингвистики, этому аскетическому братству фонем, этому храму, где усердных молодых людей обучают не собственно языку, но методике, по которой надо преподавать сию методику; метода же эта, словно водопад, плещущий с утеса на утес, перестает быть средством разумной навигации, но, может быть, в каком-нибудь баснословном будущем пригодится для усовершенствования эзотерических наречий, например прусско-этрасского, на которых будут изъясняться одни хитроумные машины. Без сомнения, подход Пнина к своей работе был дилетантским и легкомысленным: он полагался на грамматические упражнения, изданные главою славянского отделения гораздо более крупного, чем Вэйндель, университета – маститым шарлатаном, русский язык которого был уморителен, но который тем не менее великодушно ссужал свое почтенное имя произведениям безымянных тружеников. Пнин, несмотря на множество своих недостатков, источал обезоруживающее, старомодное обаяние, которое д-р Гаген, верный его покровитель, отстаивал перед суровыми попечителями как изящный заграничный продукт, за который стоило платить отечественной монетой. Его ученая степень по социологии и политической экономии, которой он был торжественно удостоен в Пражском университете в 1925-м, кажется, году, к середине века лишилась применения, и однако нельзя сказать, чтобы он вовсе не подходил для роли преподавателя русского языка. Его любили не за какие-то его особенные качества, но более за его забываемые отступления, когда он снимал очки, улыбаясь прошлому и одновременно протирая стекла настоящего. Ностальгические экскурсии на ломаном английском; забавные подробности автобиографии. Прибытие Пнина в Соединенные Штаты. «Проверка на корабле, – перед тем как сойти на берег. Вери вэль! „Везете какие-нибудь ценные вещи?“ – „Нет“. Вери вэль! Засим – политические вопросы. Он спрашивает: „Вы не анархист?“ – „Я отвечаю, – рассказчик тут делает паузу, чтобы предаться уютному немому веселью. – Во-первых: что мы понимаем под анархизмом? Анархизм – какой? практический, метафизический, теоретический, мистический, абстрактный, индивидуальный, социальный? Когда я был молод, – говорю я ему, – все это имело для меня значение“. И у нас получилась очень интересная дискуссия, вследствие которой я провел целых две недели на Эллис Айленд[4]», – брюшко начинает колыхаться; вот и колыхнется; и вот уже повествователь трясется от смеха.

Но случались и еще более смешные положения. Благодушный Пнин, с жеманной таинственностью подготавливая подростков к дивному удовольствию, которое сам он некогда испытал, и уже обнажая в неудержимой улыбке неполный, но внушительный строй пожелтевших зубов, раскрывал потрепанную русскую книгу на изящной закладке искусственной кожи, заботливо им туда вложенной; он раскрывал ее, и нередко при этом его подвижные черты искажались выражением крайнего смущения; разинув рот, он лихорадочно пролистывал том направо и налево, и, бывало, проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу – или убеждался в том, что все-таки правильно заложил ее. Обыкновенно брался пассаж из старой, простецкой комедии купеческого быта, которую Островский смастерил на скорую руку лет сто тому назад, или из столь же древнего, но даже еще более устаревшего отрывка из плоского лесковского фарса, где все держится на искалеченных словах. Он преподносил этот лежалый товар скорее в сочной манере классической Александринки, нежели с отчетливой простотой Московского Художественного; но так как для того, чтобы оценить хоть то небольшое, что еще оставалось смешного в этих пассажах, нужно было обладать не только основательным знанием разговорного языка, но еще и немалым запасом литературных сведений, меж тем как его бедный маленький класс не обладал ни тем, ни другим, то декламатор в одиночестве наслаждался тонкими ассоциациями что-то текста. Колыханье, уже отмеченное нами в другой связи, превращалось тут в настоящее землетрясение. В ярком свете рампы надевая на себя все маски, которые подсовывало ему воображение, направив память ко дням своей пылкой, восприимчивой юности (в сверкающем мире, который, казалось, припоминался еще ярче оттого, что был сметен одним ударом истории),

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Пнин пьянел от бродивших в нем вин, покуда извлекал из текста один за другим образчики того, что его слушатели учтиво принимали за русский юмор. Скоро он ослабевал от смеха; по его загорелым щекам стекали грушевидные слезы. Не только его ужасающие зубы, но и поразительно широкая полоса розовой верхней десны неожиданно выскакивали как чертик из табакерки, и рука его взлетала ко рту, а массивные плечи сотрясались и перекатывались. Он до того отдавался потехе собственного производства, что на студентов это действовало неотразимо, хотя его речь, придушенная пляшущей ладонью, была им теперь непонятна вдвойне. К тому моменту, что он совершенно уже изнемогал, они помирали со смеху, причем Чарльз, хохоча, отрывисто лалял, как заводной, невзрачную Джозефину неожиданно преображал ослепительно-прелестный поток смеха, тогда как очаровательная Айлина расплывалась в желе непривлекательного гогота.

Что, впрочем, не меняет того факта, что Пнин ехал не в том поезде.

Как бы нам объяснить это печальное происшествие? Пнин, это следует особенно подчеркнуть, ни в коем случае не походил на известный тип добродушной немецкой пошлости прошлого столетия, *der zerstreute Professor*[5]. Напротив, он был, может быть, слишком осмотрителен, слишком остерегался каверзных подвохов, слишком болезненно опасался, как бы его странное окружение (непредсказуемая Америка) не втянуло его в какую-нибудь нелепую историю. Рассеян был не Пнин, а мир, и Пнину приходилось наводить в нем порядок. Его жизнь была постоянной войной с неодушевленными предметами, которые разваливались, или нападали на него, или отказывались служить, или назло ему терялись, как только попадали в сферу его бытия. У него были на редкость неловкие руки; но поскольку он мгновенно мог изготовить однозвучную свистульку из горохового стручка, пустить плоский камушек так, чтобы он раз десять подскочил по глади пруда, изобразить, сложив пальцы, силуэт кролика на стене (притом с моргающим глазом) и проделать множество других домашних трюков, которые у русского человека всегда наготове, то он воображал, что наделен значительными прикладными и техническими способностями. Всякими приспособлениями он увлекался с каким-то ослепленным, суеверным восторгом. Электрические приборы приводили его в восхищение. Изделия из пластической массы сводили его с ума. Он не мог надивиться на змеевидную застежку. Но бывало и так, что благоговейно заштепселенные им электрические часы, после ночной грозы, парализовавшей местную электростанцию, превращали его утра в нелепую сумятицу. Оправа его очков могла лопнуть в переносице, и тогда он держал в руках две одинаковые их половины, пытаясь как-то соединить их, уповая, должно быть, на некое органическое сращивание, которое чудом придет к нему на помощь. Порой, в отчаянную минуту жуткой спешки, застежку, от которой мужчина зависит более всего, заедало в его растерянной руке.

И он все еще не знал, что сел не в тот поезд.

Область особенно опасную для Пнина представлял английский язык. Не считая таких не очень полезных случайных словечек, как *the rest is silence* (прочее – молчанье, финал «Гамлета»), *nevermore* (больше никогда, рефрен из «Ворона» По), *weekend* (конец недели), *who's who* (кто – что, американский биографический справочник), и нескольких обиходных слов вроде еда, улица, самопишущее перо, гангстер, чарльстон, марджиналь ютилити, он вовсе не владел английским, когда уезжал из Франции в Соединенные Штаты. Но он упрямо засел за изучение языка Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и тридцати одного президента. В 1941-м, в конце первого года занятий, он был достаточно искушен, чтобы свободно пользоваться выражениями вроде *вишфуль финкинг* (принимать желаемое за действительное) и *оки-доки* (простонародное «ладно»). К 1942-му он был в состоянии прерывать свое повествование фразой «*Ту мэик э лонг стори шорт*» (короче говоря). К началу второго срока президента Трумэна Пнин практически мог справиться с любой темой; но, с другой стороны, продвижение вперед, казалось, приостановилось, несмотря на все его усилия, и к 1950-му году его английский язык все еще был полон изъянов. В ту осень он пополнил свои русские курсы еженедельными лекциями в так называемом симпозиуме («Безкрылая Европа: обзор современной континентальной культуры»), которым руководил д-р Гаген. Все лекции нашего друга, включая разнообразные выступления в других городах, редактировал один из младших сотрудников немецкой кафедры. Процедура эта была довольно сложной. Сначала профессор Пнин старательно переводил свой русский словесный поток, изобиловавший идиоматическими речениями, на корявый английский. Молодой Миллер все это исправлял. Потом секретарша д-ра Гагена, мисс Айзенбор, переписывала все на ремингтоне. Потом Пнин вычеркивал места, которых не понимал. И только после этого он читал лекцию своей еженедельной аудитории. Он совершенно

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru не мог обойтись без приготовленного текста; не мог он воспользоваться и старым приемом маскировать свой недостаток то подымая глаза, то опуская – выхватывая горсточку слов, забрасывая их в аудиторию и растягивая конец предложения, пока ныряешь за следующим. Нервный взгляд Пнина непременно сбился бы со следа. Поэтому он предпочитал читать свои лекции не отрывая глаз от текста, медленным, монотонным баритоном, напоминая восхождение по одной из тех нескончаемых лестниц, которыми пользуются те, кто боятся лифтов.

Кондуктору – седовласому, отечески добродушному человеку в стальных очках, довольно низко сидевших на его простом, прямого назначения носу, с полоской грязного пластыря на большом пальце, – оставалось теперь пройти всего три вагона до последнего, в котором сидел Пнин.

Тем временем Пнин предался удовлетворенью особенной пнинской страсти. Он находился в пнинском затруднении. Среди прочих вещей, необходимых для пнинского ночлега в чужом городе, – башмачных колодок, яблок, словарей и так далее, – в его большом саквояже лежал относительно новый черный костюм, который он собирался надеть вечером на лекцию («коммунисты ли русские люди?») перед дамами Кремоны. Там же лежала лекция для симпозиума на ближайший понедельник («Дон Кихот и Фауст»), которую он рассчитывал проштудировать завтра на обратном пути в Вэйндель, и сочинение аспирантки Бетти Блосс («Достоевский и Гештальт-психология»), которое он должен был прочитать вместо д-ра Гагена, главного руководителя ее умственной деятельности. Затруднение же состояло в следующем: если он будет держать кремонский манускрипт – пачку машинописного формата страниц, аккуратно сложенную пополам, – при себе, в безопасном тепле своего тела, то теоретически было вероятно, что он забудет переложить его из сюртука, который был на нем теперь, в тот, который на нем будет тогда. С другой стороны, если бы он поместил лекцию в карман того костюма, который был в чемодане теперь, то он знал, что стал бы терзаться мыслью, что багаж могут украсть. С третьей стороны (такие душевные состояния все время обстраиваются новыми сторонами), он вез во внутреннем кармане своего теперешнего сюртука драгоценный бумажник с двумя десятидолларовыми ассигнациями, газетной вырезкой письма, написанного им с моей помощью в «Нью-Йорк Таймс» в 1945-м году по поводу ялтинской конференции, и своим удостоверением об американской натурализации; и в принципе можно было, вытаскивая бумажник, ежели он понадобится, фатально выронить при этом и сложенную лекцию. В продолжение двадцати минут, проведенных им в поезде, наш друг уже дважды раскрывал чемодан, перекладывая так и сяк свои разнообразные бумаги. Когда кондуктор дошел до его вагона, добросовестный Пнин попытался, несмотря на трудности, одолеть последнее произведение Бетти, которое начиналось так: «Когда мы рассматриваем духовный климат, в котором все мы живем, мы не можем не заметить...»

Тут вошел кондуктор; не стал будить солдата, пообещал женщинам дать знать, когда им выходить, и вот уже качал головой над билетом Пнина. Остановка в Кремоне была отменена два года тому назад.

– Важная лекция! – вскричал Пнин. – Что делать? Катастрофа!

Седой кондуктор степенно, неторопливо опустился на противоположное сиденье и ни слова не говоря стал справляться в потрепанной книге, полной вставок на страницах с загнутыми уголками. Через несколько минут, а именно в 3.08, Пнину нужно будет выйти в Витчерче; там он сядет на четырехчасовой автобус, который около шести доставит его в Кремону.

– Я думал, что выиграл двенадцать минут, а теперь я потерял целых два часа, – огорченно сказал Пнин. После чего, прочищая горло и не слушая утешений седовласого добряка («Не беда, поспеете»), он снял рабочие очки, подхватил свой тяжелый, как камень, чемодан и отправился в тамбур вагона, чтобы подождать там, пока перепутанную, проносимую мимо зелень не упразднит и не заменит собою нужная ему станция.

2

Витчерч появился точно по расписанию. За геометрически правильными телами разнообразных отчетливых теней лежало горячее, оцепенелое пространство залитого солнцем бетона. Здешняя погода была невероятно летней для октября. Не теряя времени, Пнин вошел в нечто вроде ожидальной залы с ненужной печкой посередине и огляделся. В голый нише можно было различить верхнюю половину туловища взопревшего молодого человека, заполнявшего формуляры за широкой деревянной

стойкой.

– Скажите, пожалуйста, – сказал Пнин, – где находится автобус в четыре часа в Кремену?

– Через дорогу, – коротко ответил служащий, не подымая глаз.

– А где можно оставить мой багаж?

– Этот чемодан? Я присмотрю за ним.

И со свойственной американцам непринужденностью, которая всегда поражала Пнина, молодой человек втолкнул чемодан в угол своего закута.

– Квиттэнс? – спросил Пнин.

– Как?

– Номер? – попытался объяснить Пнин.

– Номера вам не нужно, – сказал молодой человек и опять начал писать.

Пнин покинул станцию, удостоверился, что автобусная остановка там, где сказано, и зашел в кондитерскую. Поглотил сандвич с ветчиной, спросил другой, съел и другой. Ровно без пяти четыре, уплатив за съеденное, но не за превосходную зубочистку, тщательно выбранную им в опрятной чашечке в виде сосновой шишки возле кассы, Пнин пошел назад на станцию за своим саквояжем.

Первого служащего там теперь не оказалось. Его вызвали домой, чтобы срочно везти жену в родильный приют. Он должен был вернуться через несколько минут.

– Но мне необходимо обрести мой чемодан! – воскликнул Пнин. Новый служащий сожалел, но ничем не мог помочь.

– Вот он! – вскричал Пнин, перегибаясь через стойку и показывая.

Это был опрометчивый жест. Он еще указывал пальцем, но уже понял, что требует чужой чемодан. Его указательный палец потерял уверенность. Нерешительность эта оказалась роковой.

– Мой автобус в Кремену! – воскликнул Пнин.

– Будет еще один, в восемь, – сказал тот.

Что было делать нашему бедному другу?

Ужасное положение! Он бросил взгляд в сторону улицы. Автобус только что подошел. Выступление сулило пятьдесят долларов. Его рука метнулась к правому боку. Она была тут, слава Богу! Вери вэль! Он не наденет черного костюма – вот и все. Он захватит чемодан на обратном пути. За свою жизнь он бросил, растерял, похерил множество более ценных вещей. Энергично, почти что беззаботно Пнин сел в автобус.

Не успел он проехать и нескольких городских кварталов на этом новом этапе своего путешествия, как в голове у него мелькнуло страшное подозрение. С той минуты, как он был разлучен с чемоданом, кончик его левого указательного пальца то и дело чередовался с ближайшим краем правого локтя на страже драгоценного содержимого внутреннего кармана пиджака. Он вдруг одним рывком выхватил его. Это было сочинение Бетти.

Издавая то, что он считал международными выражениями тревоги и мольбы, Пнин ринулся со своего сиденья. Шатаясь, он добрался до выхода. Одной рукой водитель угрюмо выдоил пригоршню монет из своей машинки, возвратил ему цену билета и остановил автобус. И бедный Пнин оказался посреди чужого города.

Он был совсем не так крепок, как это можно было предположить судя по его мощной, выпяченной груди, и волна безнадежного утомления, которая внезапно захлестнула его неустойчивое, с перевесом в верхней части, тело, словно бы отделяя его от

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
действительности, была ощущением ему не вовсе не знакомым. Он очутился в сыром, зеленом, лиловатом сквере строгого траурного вида, с преобладанием понурых рододендронов, глянцевиных лавров, опрысканных тенистых деревьев и аккуратно скошенных газонов; и едва он свернул в каштановую и дубовую просадь, которая – как ему отрывисто сообщил шофер автобуса – вела назад на железнодорожную станцию, – как это жутковатое чувство, эти мурашки нереальности одолели его окончательно. Несвежая снедь? Этот пикуль, поданный к ветчине? Или то была какая-то таинственная болезнь, которой ни один его врач еще не определил? спрашивал себя мой приятель. Желал бы и я это знать.

Не знаю, замечено ли кем-нибудь прежде, что обособленность есть одна из важнейших черт жизни. Без покрова плоти мы умираем. Человек существует лишь постольку, поскольку он отделен от своего окружения. Черепная коробка – это как бы шлем астронавта. Снимешь ее – погибнешь. Смерть есть разоблачение, растворение. Оно и хорошо, может быть, смешаться с пейзажем, но для легкоранимого «я» это конец. Чувство, которое испытывал Пнин, чем-то очень напоминало такого рода разоблачение или растворение. Он ощущал себя пористым и уязвимым. Обливался потом. Был испуган. Каменная скамья под лавровыми деревьями спасла его от падения на панель. Не сердечный ли это был припадок? Сомневаюсь. В настоящую минуту я его врач, так что позволю себе повторить, что я сомневаюсь в этом. Мой пациент был одним из тех своеобразных и несчастливых людей, которые относятся к своему сердцу («полому мышечному органу», по омерзительному определению «Нового университетского словаря Вэбстера», лежавшего в осиротевшем чемодане Пнина) с брезгливым страхом, с нервным отвращением, с болезненной ненавистью, как если бы оно было каким-то сильным, слизистым, неприкасаемым чудовищем, паразитом, которого, к несчастью, приходится терпеть. Изредка, когда озадаченные его спотычливым пульсом, врачи исследовали его более тщательно, кардиограф вычерчивал баснословные горные кряжи и указывал сразу на несколько недугов, все сплошь роковых, но исключавших один другой. Он боялся дотрагиваться до запястья. Он никогда не пытался заснуть на левом боку, даже в те гнетущие часы ночи, когда бессонный страдалец мечтает о третьем боку, перепробовав оба имеющихся в наличии.

И вот теперь в парке Витчерча Пнин испытывал то, что уже испытал 10-го августа 1942-го года, и 15-го февраля (день его рождения) 1937-го, и 18-го мая 1929-го, и 4-го июля 1920-го – а именно, что отвратительный автомат, которому он дал приют, обнаруживал свое собственное, независимое сознание и не только грубо зажил своей жизнью, но еще и причинял ему паническое страдание. Он прижал свою бедную лысую голову к каменной спинке скамьи и стал вспоминать все прошлые случаи такого же тревожного отчаянья. Не воспаление ли это легких на сей раз? За два дня перед тем его пробрало до костей на одном из тех сильных американских сквозняков, какими хозяин ветренным вечером потчует своих гостей после второй рюмки. Внезапно Пнин (да уж не умирает ли он?) заметил, что соскальзывает назад, в свое детство. Это ощущение обладало драматической остротой ретроспективных подробностей, что, как говорят, бывает у утопающих, особенно в старом русском флоте, – феномен удушья, который один крупный специалист по психоанализу, коего имя я запомнил, объясняет как подсознательно возобновленное потрясение, испытанное при крещении, что вызывает взрыв промежуточных воспоминаний о событиях между первым погружением и последним. Все это произошло мгновенно, но нет возможности описать это короче, чем чередую нижеследующих слов.

Пнин происходил из почтенной, довольно состоятельной петербургской семьи. Его отец, д-р Павел Пнин, окулист с солидной репутацией, однажды имел честь лечить Толстого от конъюнктивита. Мать Тимофея, хрупкая, нервная, маленькая, коротко подстриженная, с осиной талией, была дочь некогда известного революционера Умова и рижской немки. В своем полуобмороке он увидел приближающиеся глаза матери. Было воскресенье в середине зимы. Ему было одиннадцать лет. Он готовил уроки на понедельник для классов в первой гимназии, когда его тело прохватил странный озноб. Мать поставила ему градусник, посмотрела на свое дитя в каком-то остолбенении и немедленно послала за лучшим другом мужа, педиатром Белочкиным. Это был небольшого роста человек с густыми бровями, короткой бородкой и остриженной бобриком головой. Откинув полы сюртука, он присел на край Тимофеевой постели. Тут толстый золотой брегет доктора и пульс Тимофея пустились наперегонки – и пульс легко победил. Затем грудь Тимофея обнажили, и Белочкин прижался к ней ледяной наготово уха и наждачной головой. Подобно плоской подошве какой-то одно-ножки, ухо передвигалось по всей спине и груди Тимофея, приклеиваясь то к тому, то к другому месту на его коже и топя дальше. Как только доктор ушел, мать и дюжая горничная с английскими булавками в зубах

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
упаковали несчастного маленького пациента в компресс, похожий на смирительную рубашку. Он состоял из слоя намоченного полотна, слоя потолще из гигроскопической ваты и еще одного, из тесной фланели с дьявольски липкой клеенкой – цвета мочи и лихорадки, – лежавшей между крайне неприятным, землисто-сырым и холодным, облежавшим кожу полотном и мучительно скрипучей ватой, вокруг которой был намотан наружный слой фланели. Тимоша – бедная куколка в коконе – лежал под грудой добавочных одеял, но они ничего не могли поделаться с разветвлявшимся ознобом, который полз по ребрам с обеих сторон его окоченевшего хребта. Он не мог закрыть глаза, потому что саднило веки. Зрение было сплошным овальным страданием из-за косых кинжальных ударов света; привычные формы сделались рассадниками дурных видений. Возле его постели стояла четырехстворчатая ширма полированного дерева с выжженными на ней рисунками, изображавшими верховую тропу, словно войлоком устланную палой листвой, пруд с водяными лилиями, старика, ссутулившегося на скамье, и белку, державшую в передних лапках какой-то красноватый предмет. Тимоша, будучи мальчиком методичным, часто пытался выяснить, что бы это могло быть (орех? сосновая шишка?), и теперь, когда ему нечего было больше делать, он положил себе разрешить эту скучную загадку, но жар, гудевший в голове, потоплял всякое усилие в панической боли. Еще более тягостным был его поединок с обоями. Он и прежде замечал, что комбинация, состоявшая в вертикальном направлении из трех разных гроздей лиловых цветов и семи разных дубовых листьев, повторялась несколько раз с успокоительной правильностью; но теперь ему мешал тот неотвязный факт, что он не мог найти системы, регулировавшей сцепы и переплеты, если двигаться в горизонтальном направлении узора; что такая регулярность существовала, доказывалось тем, что он мог выхватить там и сям, по всей стене от постели до шкапа и от печки до двери, появление то того, то другого элемента рисунка; но когда он пытался путешествовать вправо или влево от любой произвольно выбранной группы из трех соцветий и семи листьев, он тотчас терялся в беспорядочной заросли рододендрона и дуба. Было ясно, что ежели злонамеренный затейник – разрушитель рассудка, сообщник лихорадки – спрятал ключ к этому узору с таким чудовищным тщанием, то ключ этот должен быть драгоценен не менее самой жизни, и если он отыщется, то к Тимофею Пнину возвратится его обычное здоровье, его привычный мир; и эта ясная – увы, чересчур ясная – мысль заставляла его упорно продолжать борьбу.

Ощущение, что он опаздывает на какую-то точно назначенную встречу, столь же неукоснительную, что и час начала занятий в гимназии, час обеда или час, когда нужно было идти спать, заставляло его неуклюже торопиться и оттого еще больше затрудняло его исследование, постепенно переходившее в бред. Листья и цветы, нисколько не нарушая своих сложных переплетений, казались, отделились цельной зыблущей группой от своего бледно-голубого фона, который в свою очередь переставал быть плоской бумагой и прогибался в глубину, покуда сердце зрителя едва не разрывалось в ответном расширенье. Он еще мог различить сквозь отдельные гирлянды некоторые наиболее живучие детали детской – например, полированную ширму, блик стакана, медные набалдашники кровати, но они были еще меньшей помехой для дубовых листьев и роскошных цветов, чем отраженье обиходного предмета в оконном стекле препятствовало созерцанию наружного пейзажа сквозь это самое стекло. И хотя жертва и свидетель этих галлюцинаций лежал спеленутым в постели, он, в согласии с двойственной природой своего окружения, одновременно сидел на скамье в зелено-лиловом парке. На один тающий миг он почувствовал, что держит наконец ключ, который искал; но издали прилетевший шелестящий ветер, мягко нарастая и трепля рододендроны – теперь уже облетевшие, незрячие, – нарушил всякую систему в расположении предметов, некогда окружавших Тимофея Пнина. Он был жив, и то хорошо. Спинка скамьи, к которой он привалился, ощущалась столь же явственно, что и его одежда, бумажник или год великого московского пожара – 1812-й.

Серая белка, с удобством сидевшая перед ним на задних лапках на земле, грызла косточку от персика. Ветер перевел дыхание и скоро снова зашелестел листвой.

После припадка он был слегка напуган и слаб, но убеждал себя, что ежели б то был настоящий сердечный приступ, он, конечно, чувствовал бы себя гораздо более разбитым и встревоженным, и это окольное рассуждение окончательно разогнало его страх. Было двадцать минут пятого. Он высморкался и поплелся к станции.

Первый служащий вернулся.

– Вот ваш чемодан, – сказал он весело. – Жалко, что пропустили кремонский

автобус.

– По крайней мере, – и сколько величавой иронии наш незадачливый друг пытался вложить в это «по крайней мере», – я надеюсь, ваша жена благополучна?

– Что ей сделается. Видать, не сегодня, так завтра.

– Ну, что ж, – сказал Пнин, – теперь укажите мне, где находится публичный телефон.

Служащий сделал карандашом указательный жест, заведя его так далеко вперед и в сторону, как только мог, не покидая своего закутка. Пнин с чемоданом в руке пошел было в этом направлении, но тут его позвали обратно. Карандаш теперь был направлен в сторону улицы.

– Вон видите, там двое ребят нагружают фургон? Им как раз ехать в Кремену. Скажете, что вы от Боба Горна; они вас подвезут.

З

Иные люди (к числу которых принадлежу и я) терпеть не могут счастливых развязок. Мы чувствуем себя обманутыми. Зло в порядке вещей. Судьбы не переломишь. Лавина, останавливающаяся на своем пути в нескольких шагах над съезжившимся селением, ведет себя не только противоестественно, но и противонравственно. Если б я читал об этом кротком пожилом человеке, вместо того чтобы писать о нем, то я бы предпочел, чтобы он по прибытии в Кремену обнаружил, что его лекция назначена не на эту пятницу, а на следующую. Но в действительности он не только благополучно добрался до места, но еще и поспел к обеду: сначала фруктовый коктейль, потом мятное желе к безмянному жаркому, затем шоколадный сироп к сливочному мороженому. А вскоре вслед за тем, наевшись сладкого, надев свой черный костюм и пожонглировав тремя манускриптами, которые он рассовал по сюртучным карманам с тем, чтобы всегда иметь под рукой нужный (таким образом предупреждая несчастный случай с математической безусловностью), он сидел на стуле возле кафедры, в то время как с кафедры представляла лектора Джудит Клайд, неопределенного возраста блондинка в аквамариновом искусственного шолка платье, с большими плоскими щеками, подкрашенными в прекрасный карамельно-розовый цвет, и с парой блестящих глаз, купающихся в лишенной всякой мысли голубизне позади пенснэ без ободков.

– Сегодня, – сказала она, – перед нами выступит... это, кстати, наш третий пятничный вечер; в прошлый раз, как все вы помните, все мы получили большое удовольствие, прослушав лекцию профессора Мура о сельском хозяйстве в Китае. Я горжусь тем, что могу сказать, что сегодня здесь среди нас – уроженец России и гражданин нашей страны, профессор – боюсь, тут выйдет запинка – профессор Пун-нин. Надеюсь, я не ошиблась в произношении. Конечно, его едва ли нужно представлять, и все мы счастливы видеть его. У нас впереди долгий вечер, долгий и многообещающий вечер, и я уверена, что всем вам хотелось бы задать ему потом вопросы. Мне между прочим стало известно, что его отец был домашним доктором Достоевского и что самому ему довелось побывать по обе стороны железного Занавеса. Поэтому не стану отнимать у вас больше драгоценного времени, а только прибавлю несколько слов о нашей лекции в следующую пятницу в рамках этой программы. Уверена, что все вы будете в восторге, когда услышите, что всем нам приготовлен дивный сюрприз. Наш следующий лектор – мисс Линда Лэйсфильд, выдающаяся поэтесса и прозаик. Все мы знаем, что она автор стихов, прозы и нескольких рассказов. Мисс Лэйсфильд родилась в Нью-Йорке. Ее предки с обеих сторон сражались по разные стороны в Революционную войну. Еще студенткой она написала свое первое стихотворение. Многие ее стихотворения – по меньшей мере, три – были опубликованы в сборнике «Отклики: Сто стихотворений американских женщин о любви». В тысяча девятьсот двадцать втором году она удостоилась денежной премии за —

Но Пнин не слушал. Его зачарованным вниманием владела легкая рябь, вызванная его недавним припадком. Это состояние длилось всего несколько сердечных ударов, с лишней систолой там и сям – последние, безвредные отзвуки, – и растворилось в прозаической действительности, когда почтенная председательница пригласила его на кафедру; но пока это длилось – каким же прозрачно-ясным было видение! В середине первого ряда он видел одну из своих остзейских теток, в жемчугах, кружевах и белокуром парике, надевавшаяся ею на все спектакли знаменитого провинциального актера Ходотова, которому она поклонялась издали, пока не помешалась в рассудке. Рядом с нею, застенчиво улыбаясь, наклонив гладкую

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
темноволосую голову, сияя Пнину нежным карим взором из-под бархатных бровей, сидела, обмахиваясь программкой, покойная его возлюбленная. Убитые, забытые, неотмщенные, неподкупные, бессмертные – множество старых его друзей было рассажено там и сям в этой туманной зале попеременно с новыми его знакомыми, вроде Г-жи Клайд, скромно вернувшейся на свое место в первом ряду. Ваня Бедняшкин, расстрелянный красными в 1919-м году в Одессе за то, что отец его был кадет, из глубины залы радостно подавал знаки своему бывшему однокашнику. А в неприметном месте д-р Павел Пнин со своей взволнованной женой – оба слегка расплывающиеся, но в общем прекрасно восстановленные из состояния неисследимого распада, – смотрели на своего сына с той же безоглядной страстью и гордостью, с какой они смотрели на него в тот вечер 1912-го года, когда на школьном празднике, посвященном годовщине победы над Наполеоном, он продекламировал (одиноко стоящий на сцене мальчик в очках) стихотворение Пушкина.

Краткое видение исчезло. Старенькая мисс Херринг, профессорша истории в отставке, автор книги «Россия пробуждается» (1922), перегибалась через двух соседок, чтобы сказать комплимент мисс Клайд по поводу ее речи, меж тем как из-за ее спины другая сияющая старуха просовывала в поле ее зрения свои увядшие, беззвучно аплодирующие руки.

Глава вторая

1

Знаменитые колокола Вэйндельского колледжа звонили утренним перезвоном.

Лоренс Дж. Клементс, вэйндельский профессор, единственным популярным курсом которого была «Философия жеста», и его жена Джоана (окончившая Пендельтон в 1930-м году), недавно простились с дочерью, лучшей студенткой отца: не закончив курса, Изабелла вышла замуж за выпускника Вэйнделя, получившего место инженера в далеком западном штате.

Звон колоколов музыкально переливался на серебристом солнце. Обрамленный широким окном городок Вэйндель – белые дома, черный узорчатый рисунок веток – вплоть до грифельно-серых холмов простирался в примитивной перспективе как на детском рисунке, лишенный воздушной глубины; все было красиво разубрано инеем; блестящие части запаркованных машин блестели; старый скотч-терьер Г-жи Дингволь, похожий на цилиндрического кабанчика, отправился в обычный свой обход по Ворренской, оттуда по Спелман и обратно; однако никакие добрососедские отношения, ни выхоженный ландшафт, ни переливчатый звон не в силах были скрасить времени года; через две недели, переварив паузу, академический год вступал в самую свою зимнюю стадию – «весенний семестр», и Клементсы испытывали уныние и тревожное чувство осиротелости в своем милом, старом, насквозь продуваемом доме, который теперь, казалось, висел на них как дряблая кожа и болтающаяся одежда на каком-нибудь дуралее, который вдруг взял да и похудел на треть своего веса. Ведь Изабелла была так еще молода, так рассеянна, и они в сущности ничего не знали о родителях ее мужа, если не считать свадебного набора гостей с марципанными лицами в наемной зале, с расплывчатой невестой, без своих очков выглядевшей такой беспомощной.

Колокола под энергичным управлением д-ра Роберта Треблера, бойкого сотрудника музыкального факультета, все еще в полную силу звучали в райской вышине, между тем как Лоренс, светловолосый, с зальсынами, нездоровой полноты мужчина, за скудным завтраком из апельсинов и лимонов бранил главу французской кафедры, одного из приглашенных Джоаной к ним на вечер в честь профессора Энтвисла из Гольдвинского университета. «Ну для чего, – ворчал он, – понадобилось тебе звать этого скучнейшего Блоренджа, эту мумию, этот оштукатуренный столп просвещения?»

– Но мне нравится Анна Блорендж, – сказала Джоана, подкрепляя кивками свои слова. «Вульгарная старая ехидна!» – воскликнул Лоренс. «Жалостная старая ехидна», – пробормотала Джоана, – и тут только д-р Треблер перестал трезвонить, и на смену ему зазвонил телефон в передней.

С профессиональной точки зрения, искусство вставлять в повествование телефонные разговоры все еще далеко отстает от умения передавать диалоги, которыми перебрасываются из комнаты в комнату или из окна в окно через какую-нибудь узкую голубую улочку в старинном городе, где вода драгоценна, а ослики несчастны, где торгуют коврами, где минареты, чужеземцы, и дыни, и раскатистое утреннее эхо. Когда Джоана своим бодрым долготягим шагом подошла к неотвязному телефонному аппарату и успела, прежде чем он замолк, сказать «алло» (брови подняты, глаза

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
блуждают), ее приветствовала гулкая тишина; слышен был только непринужденный звук ровного дыхания; потом голос дышавшего произнес с уютным иностранным акцентом: «Извините, одну минутку», – это было сказано как-то между прочим, и он продолжал дышать и как будто хмыкать или даже слегка вздыхать под аккомпанемент шороха перелистываемых страничек.

– Алло! – повторила она.

– Вы миссис Файр? – осторожно предположил голос.

– Нет, – сказала Джоана и повесила трубку. – А кроме того, – продолжала она, вернувшись на кухню и обращаясь к мужу, который принялся было за бэкон, приготовленный ею для себя, – ты ведь не станешь отрицать, что Джэк Коккерель считает Блоренджа первоклассным администратором.

– Кто это?

– Кому-то понадобилась миссис Фойер или Фэйер. Послушай, если ты сознательно пренебрегаешь советами Джорджа... (д-р О. Дж. Хельм, их домашний врач.)

– Джоана, – сказал Лоренс, который почувствовал себя гораздо лучше после этого перламутрового ломтика сала, – Джоана, душенька, помнишь, ты сказала вчера Маргарите Тэер, что ищешь квартиранта?

– Ах да! как это я... – сказала Джоана, и тут же телефон услужливо зазвонил снова.

– Мне очевидно, – раздался тот же голос, возобновляя разговор как ни в чем не бывало, – что я по ошибке воспользовался именем сообщника. Я соединен с миссис Клемент?

– Да, это миссис Клементс, – сказала Джоана.

– Это говорит профессор... – последовал пресмешной коротенький взрыв. – Я веду русские классы. Миссис Файр, которая в настоящее время служит в библиотеке по часам –

– Да, миссис Тэер, знаю. Что же, хотите посмотреть комнату?

Да. Может ли он придти осмотреть ее приблизительно через полчаса? Да, она будет дома. И она безо всякой нежности положила трубку на рычаг.

– Кто на сей раз? – спросил ее муж, оборачиваясь (его пухлая веснучатая рука лежала на перилах) с лестницы по пути вверх, в укрытие своего кабинета.

– Пинг-понговый мячик, с трещиной. Русский.

– Так это профессор Пнин! – воскликнул Лоренс, – «Еще бы, как не знать, – алмаз безценный...»[6] Ну уж дудки, я решительно отказываюсь жить под одной крышей с этим монстром.

Он свирепо протопал вверх. Она крикнула ему вдогонку:

– Лор, ты кончил вчера свою статью?

– Почти. – Он был уже за лестничным поворотом – она слышала, как скрипела и потом ударяла по перилам его ладонь. – Сегодня кончу. Сначала я должен приготовить этот Э. С.-экзамен, будь он неладен.

Э. С. значило «Эволюция Смысла» – самый лучший его курс (на котором числилось двенадцать человек, даже отдаленно не напоминавших апостолов); он открывался и должен был закончиться изречением, которому предназначено было сделаться когда-нибудь крылатым: «В известном смысле, эволюция смысла есть эволюция бессмыслицы».

2

Полчаса спустя Джоана бросила взгляд в окно веранды поверх полумертвых кактусов и увидела мужчину в макинтоше, без шляпы, с головою, похожей на отполированный медный шар, энергично звонившего в дверь красивого кирпичного особняка соседки.

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Старый скотч-терьер стоял рядом с ним с точно таким же доверчивым выражением. Мисс Дингволь вышла со шваброю в руке, впустила неторопливого, исполненного достоинства пса и направила Пнина к дощатой резиденции Клементсов.

Тимофей Пнин уселся в гостиной, заложив ногу на ногу «по-американски» [7] и пустился в ненужные подробности. Удостоверение личности в достоверных околичностях. Родился в Петербурге в 1898-м году. Родители умерли от тифа в 1917-м. Уехал в Киев в 1918-м. Пять месяцев был в Белой Армии, сначала «полевым телефонистом», потом в канцелярии военной разведки. В 1919-м бежал из захваченного красными Крыма в Константинополь. Закончил курс в университете в Праге –

– Так ведь я девочкой жила там, и как раз в том же самом году, – обрадованно сказала Джоана. – Мой отец поехал в Турцию с правительственным поручением и взял нас с собой. Подумать, могли ведь встретиться! Я помню как по-турецки «вода». Там еще был сад с розами...

– Вода по-турецки «су», – сказал Пнин, лингвист поневоле, и продолжал рассказ о своем увлекательном прошлом: – Закончил курс в Праге. Был связан с различными научными заведениями. Затем... Ну, а если более короче говоря: с 1925-го обитал в Париже, покинул Францию в начале войны с Гитлером. Теперь находится здесь. Американский гражданин. Преподает русский язык и тому подобное в Вандальском университете. Рекомендации можно получить у Гагена, главы германского факультета. Или от университетского Дома для несемейных преподавателей.

Там ему было неудобно?

– Слишком много людей, – сказал Пнин. – Назойливых людей. Между тем как мне теперь абсолютно необходимо специальное уединение. – Он кашлянул в кулак с неожиданно гулким звуком (чем-то напомнившим Джоане профессионального донского казака, с которым ее однажды познакомили) и затем пустился напропалую: – Должен предупредить вас, мне нужно будет вырвать все зубы. Это отвратительная операция.

– Ну, пойдемте наверх, – весело сказала Джоана.

Пнин заглянул в комнату Изабеллы с розовыми стенами и белыми воланами. Вдруг пошел снег, хотя небо было из чистой платины, и медленный искристый снегопад отражался в безмолвном зеркале. Пнин внимательно осмотрел «Девушку с кошкой» Хейкера над кроватью и «Заплутавшего козленка» Ханта над книжной полкой. Потом он подержал ладонь на небольшом расстоянии от окна.

– Температура ровная?

Джоана бросилась к радиатору.

– Раскаленный, – сообщила она.

– Я спрашиваю – нет ли воздушных течений?

– О да, у вас будет масса воздуха. А здесь ванная – маленькая, но зато полностью ваша.

– Душа нет? – осведомился Пнин, посмотрев наверх. – Может быть, так даже лучше. Мой друг Шато, профессор Колумбийского университета, однажды сломал ногу в двух местах. Теперь я должен подумать. Какую плату вы готовитесь назначить? Я спрашиваю об этом, потому что не дам больше одного доллара в день – не считая, разумеется, провианта.

– Хорошо, – сказала Джоана со своим приятным, быстрым смешком.

В тот же день Чарльз Макбет, один из студентов Пнина («По-моему, сумасшедший – судя по его сочинениям», – говаривал Пнин), с особенным рвением перевез пнинскую поклажу в своей патологически фиолетовой машине без левого крыла, и после раннего обеда в недавно открытом и не очень преуспевающим ресторанчике «Яйцо и Мы», куда Пнин ходил из одного сочувствия к неудачникам, наш друг занялся приятным делом пнинизации своего нового жилища. Отрочество Изабеллы ушло вместе с нею, или может быть ее мать стерла все, что о нем напоминало, но какие-то атрибуты девичьего детства все-таки уцелели, и прежде чем найти наиболее

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru подходящие места для своей громоздкой солнечной лампы, огромной пишущей машинки с русским алфавитом, в треснутом и подклеенном пластырем гробу, пяти пар прекрасных, курьезно маленьких башмаков с вросшими в них колодками, кофейной мельницы-кипяtilьника – хитрой штуковины, которая несколько уступала той, что взорвалась в прошлом году, четы будильников, каждую ночь бегавших взапуски, и семидесяти четырех библиотечных книг, главным образом старых русских журналов, в прочных переплетах Б(иблиотеки) В(эйндельского) К(олледжа), – Пнин деликатно выселил на стул на лестничной площадке полдюжины осиротевших томов, как то: «Птицы у тебя дома», «Счастливые дни в Голландии» и «Мой первый словарь (Свыше 600 научно подобранных иллюстраций животных, человеческого организма, ферм и пожаров)», а также одинокую деревянную бусину с дыркой посередине.

Джоана, которая, быть может, несколько злоупотребляла словом «жалостный», объявила, что она намерена пригласить этого жалостного ученого выпить с их гостями, на что ее муж возразил, что он тоже жалостный ученый и что он уйдет в кинематограф, если она приведет свою угрозу в исполнение. Однако, когда Джоана поднялась к Пнину со своим приглашением, он отклонил его, сказав напрямик, что решил более не употреблять спиртного. Три супружеские пары и Энтвисл пришли около девяти, а к десяти вечеринка была в полном разгаре, – как вдруг Джоана, беседа с хорошей Гвен Коккерель, заметила Пнина в зеленом свэтере, который стоял в дверях, ведущих к подножию лестницы, и высоко держал стакан, так, чтобы она обратила внимание. Она поспешила к нему – и с ней едва не столкнулся муж, одновременно рысью пересекавший комнату, чтобы остановить, задушить, уничтожить Джэка Коккереля, начальника английской кафедры, который, стоя спиной к Пнину, забавлял миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым номером – он, пожалуй лучше всех на кампусе[8], изображал Пнина. Между тем объект его имитаций говорил Джоане: «В ванной нет чистого стакана, а имеются другие неудобства. Дует от пола, дует от стен, и...» Но д-р Гаген, приятный, прямоугольный старик, тоже заметил Пнина и радостно приветствовал его, а еще через минуту Пнин, получив взамен своего пустого стакан шотландского виски на льду с содовой, был представлен профессору Энтвислу.

– Здравствуйте–как–поживаете–хорошо–спасибо, – оттараторил Энтвисл, превосходно подражая русской речи, – да он и впрямь напоминал благодушного царского полковника в штатском. – Как-то раз в Париже, – продолжал он, весело поблескивая глазами, – когда я произнес это в кабаре «Уголок», пировавшие там русские были в полной уверенности, что я их соотечественник и только притворяюсь американцем.

– Через два–три года, – сказал Пнин, прозевав переднюю подножку, но вскакивая на заднюю, – меня тоже будут принимать за американца, – и все, кроме профессора Блоренджа, расхохотались.

– Мы достанем для вас электрический обогреватель, – шопотом сказала Пнину Джоана, подавая ему оливки.

– Какой марки электрический обогреватель? – подозрительно спросил Пнин.

– Там видно будет. Других жалоб нет?

– Да: шум мешателен, – сказал Пнин. – Мне слышно каждый, просто каждый звук внизу, но, по-моему, теперь не место обсуждать этот вопрос.

3

Гости начали расходиться. Пнин поплелся к себе наверх с чистым стаканом в руке. Энтвисл и хозяин вышли на крыльцо последними. В черной ночи плыл мокрый снег.

– Какая жалость, – сказал профессор Энтвисл, – что мы не можем переманить вас в Гольдвин насовсем. У нас и Шварц, и старик Крэйтс, оба горячие ваши поклонники. У нас настоящее озеро. У нас есть все что хотите. У нас даже есть свой профессор Пнин.

– Знаю, знаю, – сказал Клементс, – но предложения этого рода, а я их теперь то и дело получаю, опоздали. Я намерен скоро выйти в отставку, а до тех пор не прочь оставаться в своей затхлой, но зато привычной дыре. Как вам понравился, – тут он понизил голос, – мсье Блоранж?

– Он производит впечатление славного малого. Однако должен сказать, что кое в чем он напоминает мне того, вероятно вымышленного, главу французской кафедры,

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
который полагал, что Шатобриан – это знаменитый повар.

– Шш... – сказал Клементс, – Первый раз этот анекдот был рассказан именно о Блорендже, и это чистая правда.

4

На другое утро Пнин героически отправился в город, прогуливая свою трость на европейский манер (вверх-вниз, вверх-вниз) и подолгу задерживая взор на разных предметах, философически пытаюсь вообразить, каково будет увидеть их снова после пытки и вспоминать, какими они казались ему сквозь призму ее ожидания. Через два часа он тащился обратно, налегая на трость и ни на что уж не глядя. Горячий прилив боли мало-помалу вытеснял ледяную одеревенелость анестезии во рту – оттаивавшем, еще полумертвом, отвратительно истерзанном. После этого он несколько дней был в трауре по интимной частице своего организма. Он вдруг с удивлением понял, как любил он свои зубы. Его язык – толстый, гладкий тюлень, – бывало, так радостно шлепался и скользил по знакомым утесам, проверяя контуры подбитого, но все еще надежного царства, ныряя из пещеры в затон, карабкаясь на острый уступ, ютясь в ущелье, находя лакомый кусочек водоросли всегда в той же старой расселине. А теперь не было больше ни единой вешки – одна только большая, темная рана, terra incognita десен, исследовать которую не позволяли страх и отвращение. И когда протезы были вставлены, получился как бы бедный ископаемый череп, которому приделали совершенно чужие оскаленные челюсти.

Как и предполагалось, лекций у него не было; не присутствовал он и на экзаменах, которые за него давал Миллер. Минуло десять дней – и вдруг ему стало нравиться это новое приспособление. Это было откровение, восход солнца, полный рот крепкой, умелой, алебастровой, гуманной Америки. Ночью он хранил свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, где оно жемчужно-розово улыбалось самому себе как некий чудный представитель глубоководной морской флоры. Большой труд о Старой России, дивная мечта, смесь фольклора, поэзии, истории общества и *petite histoire*[9], которую он любовно вынашивал вот уже лет десять, теперь наконец казалась достижимой, когда головные боли исчезли и появился этот новый амфитеатр из полупрозрачного пластика, как бы подразумевающий рампу и спектакль. Как только начался весенний семестр, его класс не мог не заметить магической перемены: он сидел, кокетливо постукивая резинкой карандаша по этим ровным, даже чересчур ровным резцам и клыкам, в то время как студент переводил из «Русского языка для начинающих» профессора Оливера Брэдстрита Манна, цветущего старика (на самом деле это пособие было от начала и до конца написано двумя тщедушными тружениками, Джоном и Ольгой Кроткими, ныне покойными), предложение типа «Мальчик играет со своей няней и со своим дядей». А однажды вечером он подкараулил Лоренса Клементса, который пытался было проскользнуть вверх в свой кабинет, и с безсвязными восторженными восклицаниями принялся демонстрировать красоту предмета, легкость, с которой его можно было вынимать и снова вставлять, и стал уговаривать пораженного, но дружелюбного Лоренса завтра же первым делом пойти и удалить все зубы.

– Вы будете обновленный человек, как я, – кричал Пнин.

К чести Лоренса и Джоаны надо сказать, что они довольно скоро оценили Пнина по его несравненному пнинскому достоинству, несмотря на то что он был у них не столько квартирант, сколько что-то вроде домового. Он непоправимо испортил свой новый обогреватель и мрачно сказал, что это ничего, все равно теперь уже скоро весна. У него была раздражающая привычка утром стоять на лестнице и усердно чистить там свою одежду, по крайней мере минут по пяти каждый Божий день, тренькая щеткой о пуговицы. У него завязался страстный роман со стиральной машиной Джоаны. Несмотря на запрещение и приближаться к ней, он то и дело попадался с поличным. Забывая всякое приличие и осторожность, он, бывало, скармливал ей все, что подворачивалось под руку: свой носовой платок, кухонные полотенца, груды трусиков и рубашек, контрабандой принесенных вниз из своей комнаты, – все это ради удовольствия понаблюдать сквозь ее иллюминатор за тем, что походило на безконечное кувырканье больных вертежом дельфинов. Как-то раз в воскресенье, убедившись, что он один, он не мог удержаться и из чисто научного любопытства дал мощной машине поиграть парой парусиновых туфель на резиновом ходу, измазанных глиной и хлорофиллом; туфли затоптали с ужасным нестройным грохотом, как армия, переходящая через мост, и вернулись без подошв, а Джоана появилась в дверях своего будуарчика позади буфетной и печально сказала: «Опять, Тимофей?» Но она простила ему и любила сидеть с ним за кухонным столом, щелкая орехи или попивая чай. Дездемоне, старой негритянке-поденщице, которая приходила

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru по пятницам и с которой одно время ежедневно беседовал Бог («Дездемона, – говорил мне Господь, – этот твой Джордж человек негодный»), случилось мельком увидеть Пнина, нежившегося в нездешних сиреневых лучах своей солнечной лампы, когда на нем не было ничего, кроме трусиков, темных очков и ослепительного православного креста на широкой груди, – и с тех пор она уверяла, что он святой. Однажды Лоренс, войдя в свой кабинет, свою потайную и заветную нору, хитроумно выкроенную из чердака, с негодованием обнаружил там мягкий свет и жирный затылок Пнина, который, расставив щуплые ноги, преспокойно листал страницы в углу: «Извините, здесь я только „пасусь“, – кротко заметил незваный гость (английский которого обогащался с поразительной быстротой), едва оглянувшись через приподнятое плечо; но каким-то образом в тот же день случайная ссылка на редкого автора, мелькнувший намек, молча узанный на полпути к некоей идее, отважный парус, обозначившийся на горизонте, незаметно привел их обоих к нежной духовной гармонии, оттого что оба они чувствовали себя в своей тарелке только в теплом мире подлинной науки. Люди, как и числа, бывают целые и иррациональные, и Клементс с Пниным принадлежали ко второй разновидности. С того времени они часто беседовали, когда встречались и останавливались на порогах, на лестничных площадках, на двух разных уровнях ступеней (меняясь уровнями и снова оборачиваясь друг к другу) или когда в противоположных направлениях шагали по комнате, которая в тот момент была для них всего лишь espace meublé[10], по определению Пнина. Вскоре выяснилось, что Тимофей был настоящей энциклопедией русских пожиманий плечами и покачиваний головой, что он классифицировал их и мог кое-чем пополнить Лоренсов каталог философской интерпретации жестов, зарисованных и незарисованных, национальных и местных. Очень бывало приятно наблюдать, как вдвоем они обсуждают какую-нибудь легенду или верование: то Тимофей расцветает в вазообразном жесте, то Лоренс рубит рукой воздух. Лоренс даже снял на пленку то, что Тимофей считал основными русскими «кистевыми жестами»: Пнин, в теннисной рубашке, с улыбкой Джоконды на губах, демонстрирует движения, лежащие в основе таких русских глаголов (употребляемых применительно к рукам), как махнуть, всплеснуть, развести: свободный, одной рукой сверху вниз, отмах усталой уступки; драматический, обеими руками, всплеск изумленного отчаяния; и «разъединительное» движение – руки расходятся в стороны, означая беспомощную покорность. А в заключение, очень медленно, Пнин показал, как всего лишь пол-оборота пальца, вроде стремительного движения кисти в фехтовальном выверте, превратили международный жест «грозящего пальца» из русского торжественного указания наверх («Судия небесный на тебя взирает!») в немецкое наглядное изображение палки – «ужо я тебе!». «Однако, – добавил объективный Пнин, – русская метафизическая полиция тоже очень хорошо умеет ломать физические кости».

Извинившись за свой «небрежный туалет», Пнин показал этот фильм группе студентов, и Бетти Блосс, аспирантка с кафедры сравнительной литературы, где Пнин ассистировал д-ру Гагену, объявила, что Тимофей Павлович просто вылитый Будда из восточной кинокартины, которую она видела на азиатской кафедре. Эта Бетти Блосс, пухленькая, по-матерински заботливая женщина лет двадцати девяти, сидела мягкой занозой в стареющей плоти Пнина. Десятью годами раньше у нее был любовник, красивый негодяй, который бросил ее ради какой-то шлюшки, а потом у нее был затяжной, отчаянно сложный роман, скорее в духе Чехова, нежели Достоевского, с одним калекой, который теперь был женат на своей сиделке, низкопробной крале. Бедный Пнин колебался. В принципе он не исключал возможности брака. На одном семинаре, после того как все ушли, он, в своем новом зубном великолепии, зашел так далеко, что удержал ее руку на своей ладони и похлопывал ее, пока они сидели вдвоем и обсуждали тургеневское стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы». Она едва могла дочитать до конца, грудь ее разрывалась от вздохов, пойманная рука трепетала. «Тургенев, – сказал Пнин, возвращая ее руку на стол, – должен был валять дурака в шарадах и tableaux vivants ради некрасивой, но обожаемой им певицы Полины Виардо, а г-жа Пушкина как-то сказала: „Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин“, а жена исполина, исполина Толстого – подумать только! – на старости лет предпочла ему глупого музыканта с красным носом!»

Пнин ничего не имел против мисс Блосс. Пытаясь мысленно представить себе безмятежную старость, он довольно ясно видел, как она приносит ему плэд или набирает чернила в его автоматическое перо. Она, несомненно, нравилась ему – но его сердце принадлежало другой.

Кота в мешке, как говорил Пнин, не утаишь[11]. Чтобы объяснить малодушное волнение моего бедного друга однажды вечером в середине семестра – когда он

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru получил некую телеграмму и потом ходил взад и вперед у себя в комнате по меньшей мере минут сорок, – следует заметить, что Пнин был холост не всегда. Клементсы играли в китайские шашки в отсветах комфортабельного камина, когда Пнин с грохотом спустился, поскользнулся и чуть не упал к их ногам подобно челобитчику в каком-нибудь древнем городе, полном беззаконий, но восстановил равновесие – и все-таки потом наскочил на кочергу и щипцы.

– Я пришел, – сказал он, задыхаясь, – известить вас, или вернее, спросить, могут ли я принять гостя женского пола в субботу – днем, разумеется. Это моя бывшая жена, ныне д-р Лиза Винд – может быть, вы наслышаны в психиатрических кругах.

5

Глаза иных любимых женщин, благодаря случайному сочетанию блеска и разреза, действуют на вас не вдруг, не в самую минуту застенчивого созерцания, а как задержанная и нарастающая вспышка света, когда безсердечная особа отсутствует, но волшебная мука пребывает, и ее объективы и прожекторы наставлены на вас в темноте. Во всяком случае казалось, что глаза Лизы Пниной, ныне Винд, словно драгоценные камни чистой воды, выдавали свою суть только если вызвать их в воображении, – и тогда белый, слепой, влажный аквамариновый жар трепетал и внедрялся вам под веки солнечной и морской пылью. В действительности же глаза ее были светлой, прозрачной голубизны, оттененной черными ресницами, с ярко-розовым лузгом, слегка вытянутые к вискам, где от каждого веером разбегались мелкие кошачьи морщинки. У нее были темно-каштановые волосы, волной вздымавшиеся над глянцеvitым лбом и снежно-розовым лицом, и она употребляла бледный губной карандаш, и кроме некоторой толстоватости лодыжек и запястий, в ее цветущей, оживленной, элементарной, не особенно холеной красоте трудно было бы отыскать какой-нибудь изъян.

Пнин, в то время молодой, подающий надежды ученый, и она, в то время больше, чем теперь, напоминавшая ясноглазую русалку, но, впрочем, неизменившаяся, встретились в Париже в 1925-м году или около того. У него была реденькая темно-русая бородка (теперь, если б он не брился, пробилась бы только седая щетина – бедный Пнин, бедный дикобраз альбинос!), и эта раздвоенная монашеская растительность, увенчанная пухлым блестящим носом и невинными глазами, прекрасно резюмировала внешний облик старомодной интеллигентской России. Средства к существованию ему доставляла скромная должность в Аксаковском институте на улице Вер-вер, в сочетании с еще одной, в русском книжном магазине Савла Багрова, на улице Грессе. Лиза Боголепова, студентка-медичка, которой только что исполнилось двадцать лет, совершенно обворожительная в своем черном шолковом джампере и спортивной юбке, уже работала в Медонской санатории, руководимой примечательной и внушительной пожилой дамой, д-ром Розеттой Стоун, одной из самых злобных психиатрис того времени. А сверх того, Лиза писала стихи – большей частью запинаящимся анапестом; собственно, впервые Пнин увидел ее на одном из тех литературных вечеров, на которых молодые поэты-эмигранты, покинувшие Россию в период своего бледного, неизбалованного созревания, нараспев читали ностальгические элегии, посвященные стране, которая была для них не более чем печальной стилизованной игрушкой, найденной на чердаке безделкой, хрустальным шаром, который встряхиваешь, чтобы устроить внутри светозарную метель над миньютурной елкой и избушкой из папье-маше. Пнин написал ей потрясающее любовное письмо – хранящееся теперь в частной коллекции, – и она прочла его, плача от жалости к себе, пока приходила в себя после покушения на самоубийство посредством фармацевтических порошков, вследствие довольно глупого романа с неким литератором, который теперь – впрочем, оставим это. Пятеро психоаналитиков, все близких ее друзей, в один голос сказали: «Пнин – и сразу же ребенка». Брак мало в чем изменил их образ жизни – разве что она переехала в жалкую квартиру Пнина. Он продолжал свои занятия по славистике, она – свою психодраматическую деятельность и свою лирическую яйцекладку, повсюду кладя яички, как пасхальный кролик, и в этих зеленых и фиолетовых стихах – о ребенке, которого она хочет носить, и о любовниках, которых она хочет иметь, и о Петербурге (с легкой руки Анны Ахматовой) – каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение уже были использованы другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и прямой покровитель искусств, выбрал среди русских парижан влиятельного литературного критика, Жоржика Уранского, и за обед с шампанским в «Уголке» добился того, что милейший Жоржик посвятил свой очередной *feuilleton* в одной из русских газет высокой оценке Лизиной музыки, на каштановые кудри которой он преспокойно возложил венец Анны Ахматовой, после чего Лиза разразилась счастливыми слезами, – ну, прямо как маленькая Мисс Мичиган или Королева Роз в Орегоне[12]. Пнин, не будучи посвященным в это дело, носил сложенную вырезку

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
этой безстыжей ахинеи с собою, в своем честном бумажнике, и забавлял своих друзей, беспечно цитируя из нее вслух, покуда она вконец не истрепалась и не испачкалась. Не был он посвящен и в некоторые более серьезные обстоятельства, и как раз наклеивал остатки статьи в альбом, когда декабрьским днем 1938-го года Лиза телефонировала из Медона, чтобы сообщить, что уезжает в Монпелье с человеком, который понимает ее «органическое эго», неким д-ром Эрихом Виндом, и никогда больше с Тимофеем не увидится. Какая-то незнакомая рыжая француженка пришла за Лизиними вещами и сказала: «Что, крыса погребная, бедная девочка-то тю-тю – некого таперь taper dessus[13]», – а месяца через два от д-ра Винда приковыляло немецкое письмо, полное выражений сочувствия и извинений и заверяющее lieber Herr Pnin в том, что он, д-р Винд, жаждет жениться на «женщине, которая пришла в мою жизнь из Вашей». Разумеется, Пнин дал бы ей развод с той же готовностью, с какой отдал бы свою жизнь – с мокрыми цветами на долгих подрезанных стеблях, с листиком папоротника, завернутую так же ловко, как это делается в пахнувшей землей цветочной лавке в Светлое Воскресенье, когда дождь превращает его в серо-зеленое зеркало; но тут выяснилось, что у д-ра Винда в Южной Америке имеется жена с затейливым умом и поддельным паспортом, которая просила ее не беспокоить до тех пор, пока не оформятся некоторые собственные ее виды. Между тем Новый Свет начал манить и Пнина; профессор Константин Шато из Нью-Йорка, большой его друг, предлагал ему всяческую помощь в переселении. Пнин уведомил д-ра Винда о своих планах и послал Лизе последний номер эмигрантского журнала, где она упоминалась на странице 202-й. Он уже прошел половину пути по тоскливому аду, изобретенному европейскими бюрократами (к вящему удовольствию Советов) для обладателей несчастных нансенских паспортов, выдаваемых русским эмигрантам (что-то вроде волчьего билета освобожденному из тюрьмы под честное слово), когда в сырой апрельский день 1940-го года в его дверь резко позвонили, и в квартиру ввалилась Лиза и, отдуваясь и как комод неся пред собою семимесячную беременность, сорвала шляпку, скинула туфли и объявила, что все это было ошибкой и что отныне она снова верная и законная жена Пнина, готовая следовать за ним куда угодно – даже и за океан, если понадобится. Эти дни были, вероятно, самыми счастливыми в жизни Пнина; это было непрерывное рдение увесистого мучительного блаженства – и поспевание посеянных по весне виз, и приготовления, и медицинский осмотр у глухонемого доктора, прикладывавшего фальшивый стетоскоп к съезжившемуся сердцу Пнина сквозь его одежду, и добрая русская дама (моя родственница), которая так помогла им в американском консульстве, и путешествие в Бордо, и прелестный чистый пароход – на всем был драгоценный, сказочный налет. Он не только готов был усыновить ребенка, когда тот появится, но страстно желал этого, и она с довольным, несколько коровьим выражением выслушивала педагогические планы, которые он строил, а он и в самом деле, казалось, слышит первый крик новорожденного и его первое слово в недалеком будущем. Она и всегда любила облитый карамелью миндаль, но теперь она поглощала его в баснословных количествах (два фунта между Парижем и Бордо), и аскетический Пнин смотрел с восхищением и страхом на эту ее прожорливость, качая головой и пожимая плечами, и в его сознание запало что-то от гладкой шелковистости этих драже, навсегда соединившись с воспоминанием о ее натянутой коже, цвете ее лица, о ее безупречных зубах.

Немного разочаровало то, что, едва поднявшись на борт и бросив взгляд на вздымавшееся море, она сказала: «Ну, это извините», и тотчас удалась в чрево корабля, где и провела большую часть пути, лежа на спине в каюте, которую делила с болтливими женами трех неразговорчивых поляков – борца, садовника и парикмахера, – доставшихся Пнину в соседи. На третий вечер путешествия, задержавшись в кают-компании после того, как Лиза ушла спать, он охотно согласился сыграть партию в шахматы с бывшим издателем одной франкфуртской газеты, меланхолическим старцем с мешками под глазами, в свэтере с сборчатым воротом «хомут» и в гольфных штанах. И тот и другой играли дурно; оба имели склонность к эффектным, но совершенно необоснованным жертвам фигур; каждый непременно хотел выиграть; и дело еще оживлялось пнинским фантастическим немецким языком («wenn sie so, dann ich so, und Pferd fliegt»[14]). Тут подошел другой пассажир, сказал «entschuldigen Sie»[15] – нельзя ли ему посмотреть на их игру? и сел возле. У него были рыжеватые, коротко подстриженные волосы и длинные блеклые ресницы, напоминающие хвостовые нити лепизмы; на нем был поношенный двубортный пиджак, и вскоре он уже тихонько цокал языком и качал головой всякий раз, когда старец после долгого и важного раздумья подавался вперед, чтобы сделать нелепый ход. В конце концов этот полезный зритель, явный знаток, не утерпел и, толкнув назад пешку, которой только что пошел его соотечественник, указал дрожащим перстом на ладью, которую старый франкфуртец моментально внедрил подмышку защиты Пнина. Наш друг, разумеется, проиграл и уже уходил, когда знаток

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru нагнал его и сказал *entschuldigen Sie*, нельзя ли ему минутку поговорить с герр Пнин? («Как видите, мне известно ваше имя», – заметил он мимоходом, подняв свой вездесущий указательный палец) – и предложил зайти в бар выпить пива. Пнин согласился, и когда перед ними поставили кружки, вежливый незнакомец сказал вот что: «В жизни, как и в шахматах, всегда следует анализировать свои побуждения и намерения. В день, когда мы поднялись на борт, я был словно резвое дитя. Однако уже на следующее утро я начал опасаться, что проницательный супруг – это не комплимент, а ретроспективное предположение – рано или поздно просматривает список пассажиров. Сегодня совесть судила меня и признала виновным. Я более не могу терпеть обмана. Ваше здоровье. Это, конечно, не то, что наш немецкий нектар, но все же лучше, чем кока-кола. Мое имя Эрих Винд; оно вам, увы, неизвестно».

Пнин, молча, с искаженным лицом, все еще держа ладонь на мокрой стойке, начал неуклюже сползать с неудобного грибовидного сиденья, но Винд положил пять длинных чутких пальцев на его рукав.

– *Lasse mich, lasse mich!*[16] – взвыл Пнин, пытаясь стряхнуть безкостную, заискивающую руку.

– Пожалуйста! – сказал д-р Винд. – Но будьте же справедливы. Последнее слово всегда за осужденным – это его право. Это признают даже нацисты. И прежде всего – я хочу, чтобы вы позволили мне оплатить по крайней мере половину ее билета.

– *Ach nein, nein, nein*, – сказал Пнин. – Прекратим этот кошмарный разговор (*diese koschmarische Sprache*).

– Как вам угодно, – сказал д-р Винд и принялся внушать связанному Пнину следующие пункты. Что это была всецело Лизина идея – «упрощая, знаете ли, дело – ради нашего ребенка» («нашего» звучало тройственно); что Лиза очень больная женщина и нуждается в особом уходе (беременность – просто сублимация позыва к смерти); что он (д-р Винд) женится на ней в Америке – «куда я также направляюсь», добавил д-р Винд для ясности; и что он (д-р Винд) просил бы позволить ему заплатить по крайней мере за пиво. После чего до конца путешествия, которое из серебристо-зеленого превратилось в однообразно-серое, Пнин откровенно ушел в свои английские учебники, и хотя был с Лизой неизменно кроток, старался видеться с ней настолько редко, насколько это было возможно, не возбуждая ее подозрений. Время от времени д-р Винд появлялся откуда ни возьмись и издали знаками бодренько приветствовал его. И когда, наконец, величавая статуя выросла из утренней дымки, где, готовясь вспыхнуть на солнце, стояли бледные зачарованные здания, похожие на те таинственные, разновысокие прямоугольники, которые видишь на диаграммах сравнительно-наглядных процентных соотношений (природные богатства, частота миражей в различных пустынях), д-р Винд решительным шагом подошел к Пниным и назвал себя – «поскольку мы все трое должны с чистым сердцем ступить на землю свободы». И после нелепо-комической задержки на Эллис Айленд Тимофей и Лиза расстались.

Были кой-какие осложнения – но в конце концов Винд женился на ней. В продолжение первых пяти лет жизни в Америке Пнин несколько раз видал ее мельком в Нью-Йорке; он и Винды были натурализованы в один и тот же день; затем, после его отъезда в Вэйндел в 1945-м году, лет шесть прошло без встреч и без переписки. Однако время от времени до него доходили слухи о ней. Не так давно (в декабре 1951-го) его друг Шато прислал ему номер журнала по психиатрии со статьей, написанной д-ром Альбиной Дункельберг, д-ром Эрихом Виндом и д-ром Лизой Винд по поводу «Групповой психотерапии и ее применения при консультировании по проблемам брака». Пнину всегда бывало неловко за Лизины «психо-ослиные» интересы, и даже теперь, когда ему должно было быть все равно, его передернуло от отвращения и жалости. Они с Эрихом работали под началом великого Бернарда Мэйвуда, добродушного гиганта – которого прекрасно приспособившийся к новым условиям Эрих именовал «Боссом» – в исследовательском отделе при «Центре регулирования размеров семьи». С одобрения своего (и жены) покровителя Эрих разработал остроумную (может быть, не ему принадлежащую) идею загонять наиболее податливых и глухих клиентов Центра в психотерапевтическую западню – кружок «устранения напряженности», что-то вроде группового шитья стеганых одеял, где молодые замужние женщины, группами по восемь человек, раскрепощались в уютной комнате в обстановке непринужденной, живой, с обращением на ты, беседы в присутствии докторов, сидевших за столом лицом к группе, и секретаря, незаметно ведшего записи травматических эпизодов детства, всплывавших там и сям подобно трупам. На этих собраниях дам заставляли с полнейшей откровенностью обсуждать между собой

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
свои брачные неполадки, что, разумеется, приводило к сопоставлению наблюдений над мужьями, которых потом тоже интервьюировали в особой «группе мужей», тоже весьма непринужденной, где они щедро угощали друг друга папиросами и анатомическими диаграммами. Пнин пропустил доклады и конкретные случаи, – и здесь не к чему вдаваться в эти уморительные подробности. Достаточно сказать, что уже на третьем собрании женской группы, после того как та или другая дама побывала дома, и возвращалась прозревшая, и потом расписывала новое ощущение своим все еще заблокированным, но восторженным подругам, звонкая нота сектантского радения приятно окрашивала дискуссию («...ну вот, девочки, когда Джордж прошлой ночью...»). И это еще не все. Д-р Эрих Винд надеялся разработать метод, который позволил бы свести всех этих мужей и жен в одну общую группу. Кстати сказать, мороз подирал по коже, глядячи как они с Лизой облизывались, произнося слово «группа». В длинном письме к приунывшему Пнину профессор Шато утверждал, что д-р Винд даже сиамских близнецов называет «группой». И верно: прогрессивный идеалист Винд мечтал о счастливом мире, состоящем из сиамских сот, анатомически соединенных коммун, целых наций, созданных вокруг коммунальной печени. «Вся эта психиатрия – просто микромирок коммунизма», – ворчал Пнин, отвечая Шато. «Для чего лишать человека права горевать наедине с самим собой? Горе ведь единственное его настоящее достояние на этом свете!»

6

– Послушай, – сказала Джоана мужу в субботу утром, – я решила сказать Тимофею, что сегодня от двух до пяти дом будет в их распоряжении. Мы должны создать для этих жалостных существ все условия. У меня есть дела в городе, а ты будешь отвезен в библиотеку.

– Штука в том, – отвечал Лоренс, – что как раз сегодня у меня нет ни малейшего желания быть отвезенным или вообще перемещенным куда бы то ни было. А кроме того, в высшей степени невероятно, чтобы им для свидания понадобилось восемь комнат.

Пнин надел свой новый коричневый костюм (за который было заплачено кремонской лекцией) и, наспех позавтракав в заведении «Яйцо и Мы», пошел через парк с островками снега к вэйндельской автобусной станции, куда он пришел чуть ли не на час раньше, чем требовалось. Он не пытался разгадать, для чего, собственно, Лизе понадобилось непременно повидать его на возвратном пути из пансиона Св. Варфоломея, под Бостоном, куда этой осенью должен был поступить ее сын; он знал только, что вал ликования пенился в нем и рос за невидимой преградой, которая вот-вот должна была обрушиться под этим напором. Он встретил пять автобусов, и в каждом из них ясно видел Лизу, махавшую ему в окно в веренице выходящих пассажиров, но автобусы один за другим пустели, а ее не оказывалось. Вдруг он услышал ее звучный голос («Тимофей, здравствуй!») позади себя и, резко обернувшись, увидел, что она вышла как раз из того единственного автобуса дальнего следования, в котором он уже решил, что ее нет. Какую перемену мог заметить в ней наш приятель? Господи Боже мой, да какая там могла быть перемена! Она да она. Ей всегда было жарко, и все в ней кипело, даром что прохладно, вот и теперь ее котиковая шубка была настезь распахнута, открывая сборчатую блузку, когда она охватила голову Пнина и он ощутил душистый цитрусовый запах ее шеи, и все бормотал «ну-ну, вот и хорошо, ну вот» – жалкие словесные подпорки сердца, – а она воскликнула: «Ах, да у него чудные новые зубы!» Он помог ей сесть в таксомотор, ее яркий прозрачный шарф зацепился за что-то, Пнин поскользнулся на мостовой, и шофер сказал «легче» и взял у него ее саквояж, и все это было уже когда-то, в этой именно последовательности.

Эта школа, говорила она ему, пока они проезжали по Парковой, в английской традиции. Нет, она ничего не будет есть, она съела большой завтрак в Албани. Эта школа «очень фэнси»[17], – сказала она по-английски, – мальчики играют в зале в игру вроде тенниса, руками, от стен, и в одном классе с ним будет – она с деланной небрежностью произнесла известную американскую фамилию, которая Пнину ничего не говорила, потому что она не принадлежала ни поэту, ни президенту. «Между прочим, – прервал ее Пнин, подавшись вперед и указывая, – отсюда виден краешек кампуса». Все это благодаря («вижу, вижу, ничего особенного, кампус как кампус»), все это, включая стипендию, благодаря влиянию д-ра Мэйвуда («знаешь, Тимофей, ты бы как-нибудь черкнул ему несколько строк, ну просто из вежливости»), директор, он же приходской пастор, показал ей трофеи, которые Бернард завоёвывал еще мальчиком. Эрих, конечно, хотел, чтобы Виктор поступил в казенную школу, но с ним не посчитались. Жена о. Хоппера – племянница английского графа.

– Вот мы и приехали. Вот мои чертоги, – пошутил Пнин, который никогда не мог уследить за ее скорострельной речью.

Они вошли – и внезапно он почувствовал, что этот день, который он предвкушал с таким ярким нетерпением, проходит слишком уж скоро – уходит, и уходит, и скоро вот совсем пройдет. Если б она сразу сказала, что ей от него нужно, думал он, быть может, день бы замедлил ход и стал бы в самом деле радостным.

– Какой жуткий дом, – сказала она, садясь на стул рядом с телефоном и снимая ботинки – такие знакомые движения. – Нет, ты только посмотри на эту акварель с минаретами. Должно быть, ужасные люди.

– Нет, – сказал Пнин, – они мои друзья.

– Мой милый Тимофей, – говорила она, пока он эскортировал ее наверх, – в свое время у тебя бывали довольно ужасные друзья.

– А вот моя комната, – сказал Пнин.

– Я, пожалуй, прилягу на твою девственную постель, Тимофей. Я сейчас прочитаю тебе стихи. Опять просачивается эта адская головная боль. Я так превосходно чувствовала себя весь день.

– У меня есть аспирин.

– Мэ-он, – сказала она, и на фоне ее родной речи это новоприобретенное отрицание звучало непривычно.

Когда она стала снимать туфли, он отвернулся, и звук, с которым они упали на пол, напомнил ему очень далекие дни.

Она откинулась – черная юбка, белая блузка, каштановые волосы, – одной розовой рукой прикрыв глаза.

– Как ты вообще? – спросил Пнин (уж поскорей бы она сказала, что ей нужно!), опускаясь в белую качалку возле радиатора.

– У нас очень интересная работа, – сказала она, все еще заслоняя глаза, – но я должна тебе сказать, Эриха я больше не люблю. Наши отношения развалились. Кстати, Эрих не любит собственного сына. Он говорит, что он его земной отец, а ты, Тимофей, водяной.

Пнин начал смеяться: он покатывался со смеху; под ним громко скрипела несколько инфантильная качалка. Его глаза были как звезды и совершенно мокрые. Она некоторое время с любопытством смотрела на него из-под пухлой руки, потом продолжала:

– У Эриха твердый эмоциональный блок в отношении Виктора. Воображаю, сколько раз мальчик должен был во сне убивать его. И потом, как я давно заметила, у Эриха вербализация только запутывает проблемы, вместо того, чтобы их разрешать. Он очень тяжелый человек. Какое у тебя жалованье, Тимофей?

Он назвал.

– Ну, – сказала она, – это негусто. Но, я думаю, ты даже можешь кое-что откладывать – этого больше чем достаточно для твоих потребностей, твоих микроскопических потребностей, Тимофей.

Ее живот, туго схваченный черной юбкой, два-три раза подпрыгнул, с немой, уютной, добродушно-припоминающей иронией, – а Пнин высморкался, одновременно качая головой и сладострастно и весело наслаждаясь.

– Послушай мое последнее стихотворение, – сказала она, вытянув руки по швам и лежа совершенно прямо на спине, и принялась мерно выпевать протяжным, грудным голосом:

Я надела темное платье,

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

И монашенки я скромней;  
Из слоновой кости распяты  
Над холодной постелью моей.  
Но огни небывалых оргий  
Прожигают мое забытьё,  
И шепчу я имя Георгий –  
Золотое имя твое!

– Это очень интересный человек, – продолжала она без всякого перехода. – В сущности, почти англичанин. На войне он летал на бомбардировщике, а теперь он в фирме маклеров, которые его не любят и не понимают. Он происходит из старинной семьи. Отец его был мечтатель, имел плавучее казино, ну и все прочее, но его разорила во Флориде какая-то шайка евреев, и он добровольно пошел в тюрьму вместо другого; героизм у них в роду.

Она помолчала. Тишина в маленькой комнатке скорее подчеркивалась, чем нарушалась бульканьем и треньканьем в беленых органных трубах.

– Я сделала Эриху полный аналитический отчет, – со вздохом продолжала Лиза, – и теперь он все твердит, что вылечит меня, если я буду кооперировать. К сожалению, я уже кооперирую с Георгием. Ну что ж, c'est la vie, как остроумно выражается Эрих. Как ты можешь спать под этой паутинной ниткой с потолка? – Она посмотрела на свои наручные часики. – Боже, ведь мне нужно успеть на автобус в половине пятого. Тебе придется через минуту вызвать таксомотор. Мне надо сказать тебе одну очень важную вещь.

Вот оно, наконец, – но поздно.

Она хотела, чтобы Тимофей каждый месяц откладывал немного денег для мальчика – потому что она ведь не может теперь просить Бернарда Мэйвуда – и она может умереть – а Эриху все безразлично, что бы ни случилось – и кто-то же должен время от времени посылать мальчику небольшую сумму, как бы от матери – ну, знаешь, на карманные расходы – вокруг него ведь будут все богатые мальчики. Она пришлет Тимофею адрес и еще кой-какие подробности. Да, она никогда не сомневалась, что Тимофей прелесть («Ну, какой же ты душка»). А где здесь уборная? И, пожалуйста, позвони насчет таксомотора.

– Кстати, – сказала она, когда он подавал ей шубу и, по обыкновению хмурясь, разыскивал дезертировавшие проймы рукавов, покуда она тыкалась руками и шарила, – знаешь, Тимофей, этот твой коричневый костюм никуда не годится: джентльмен не носит коричневого.

Он проводил ее и пошел обратно через парк. Не отпускать бы ее, удержать бы – какую ни на есть – жестокою, вульгарною, с ослепительными синими глазами, с ее жалкими стихами, толстыми ногами, с ее нечистой, сухой, низменной, инфантильной душой. Ему вдруг пришло в голову: что если люди соединятся на том свете (я в это не верю, но предположим)? как тогда я смогу помешать этой сморщенной, беспомощной, убогой ее душе карабкаться на меня, проползать по мне? Но мы покамест еще на этом свете, и я, как это ни странно, живу, и что-то есть такое во мне и в жизни, что —

Казалось, что совершенно неожиданно (ибо отчаянье редко приводит к великим открытиям) он стоит на пороге простого разрешения вселенской загадки, но его перебили настойчивой просьбой. Сидевшая под деревом белка заметила Пнина на тропке. Одним извивистым, цепким движением умный зверек вскарабкался на край фонтанчика питьевой воды, и когда Пнин подошел, принялся, раздувая щеки, тыкать своей овальной мордочкой в его сторону с довольно грубым цыканьем. Пнин понял и, немного пошарив, нашел то, что требовалось надавить. Презрительно посматривая на него, томимая жаждой грызунья тотчас начала пить из плотного, искрящегося столбика воды и пила довольно долго. У нее, должно быть, жар, подумал Пнин, тихо и вольно плача, продолжая вежливо нажимать на рычажок и в то же время стараясь не встречаться глазами с уставившимся на него неприятным взглядом. Утолив жажду и не выказав ни малейшей признательности, белка улизнула.

Водяной отец пошел своей дорогой, дошел до конца тропинки, потом повернул в боковую улицу, где был маленький бар в виде бревенчатой избушки с гранатовыми стеклами в створчатых окнах.

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Когда в четверть шестого Джоана с полной сумкой провизии, двумя иллюстрированными журналами и тремя пакетами вернулась домой, она нашла в почтовом ящике на веранде авиаписьмо-экспресс от дочери. Прошло больше трех недель с тех пор, как Изабелла кратко известила родителей, что после медового месяца в Аризоне они благополучно добрались до мужниного города. Манипулируя свертками, Джоана разорвала конверт. Это было восторженно-счастливое письмо, и она одним духом пробежала его, – от облегчения у нее перед глазами все как-то поплыло в радужном сиянии. Снаружи входной двери она нащупала, а потом с секундным недоумением увидела ключи Пнина, свисавшие из замочной скважины вместе с кожаным футлярчиком наподобие грозди его нежнейших внутренностей; она воспользовалась ими, чтобы отпереть дверь, и как только вошла, услышала доносившийся из чулана громкий анархический перестук: там кто-то отворял и захлопывал шкапы один за другим.

Она положила сумку и пакеты на кухонный буфет и спросила в направлении чулана:

– Что вы там ищете, Тимофей?

Он вышел оттуда с багровым лицом и диким взглядом, и она была потрясена, увидев, что его лицо все в неотертых слезах.

– Я, Джон, искал висок и умиральную воду, – сказал он трагически.

– Минеральной воды, кажется, нет, – ответила она со своей здоровой англо-саксонской невозмутимостью. – Зато виски в столовой, в шкафчике, сколько угодно. Но, по-моему, нам теперь лучше выпить горячего чайку.

Он сделал русский жест со значением «оставим это».

– Нет, мне, в сущности, ничего не нужно, – сказал он и сел за кухонный стол с ужасным вздохом. Она присела рядом и раскрыла один из купленных журналов.

– А почему бы нам не посмотреть смешные картинки, Тимофей.

– Не нужно, Джон. Вы ведь знаете – я не отличаю, где тут реклама, а где не реклама.

– Вы просто отдыхайте, Тимофей, а я буду объяснять. Вот, посмотрите, – это мило, по-моему. Очень даже остроумно. Тут у нас имеются две идеи – «необитаемый остров» и «воображаемая девушка». Тимофей, ну посмотрите, пожалуйста, – он нехотя надел очки для чтения, – это вот необитаемый остров с одной-единственной пальмой, а это остатки разбитого плота, тут – моряк, потерпевший крушение, а это вот – кошка с корабля, которую он спас, ну а здесь, на камне...

– Невозможно, – сказал Пнин. – Такой маленький остров, а еще с пальмой, не может существовать в таком большом море.

– Пускай, но вот здесь он существует.

– Невозможная изоляция, – сказал Пнин.

– Да, но -- Право, Тимофей, это нечестно. Вы ведь отлично знаете, что согласны с Лором в том, что мышление основано на компромиссе с логикой.

– С оговорками, – сказал Пнин, – Прежде всего, логика как таковая --

– Ну, хорошо, хорошо, этак мы совсем удалимся от нашей скромной забавы.

– Взгляните же на картинку. Вот, значит, моряк, а вот кошечка, и тут же довольно кислая русалка, а теперь посмотрите на эти облака над матросом и над кошкой.

– Взрыв атомной бомбы? – грустно сказал Пнин.

– Да нет же, совсем не то, нечто гораздо веселее. Видите ли, эти круглые облачки как бы проекции их мыслей. И вот мы наконец добрались до смешной пуанты. Матрос-то мечтает о русалке с ногами, а кошка воображает ее целиком рыбой.

– Лермонтов, – сказал Пнин, подымая два пальца, – всего в двух стихотворениях

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
выразил о русалках все, что можно выразить. Я не в силах понимать американский юмор даже когда счастлив, и должен сказать —

Он снял очки дрожащими руками, локтем отпихнул журнал в сторону и, уронив голову на руку, разразился заглушенными рыданиями.

Она услышала, как входная дверь отпахнулась и затворилась, и мгновение спустя Лоренс, крадучись с шутовой таинственностью, заглянул на кухню. Правой рукой Джоана помахала ему, чтобы не входил, левой указывая на конверт с радужной каемкой, лежавший поверх пакетов. Особенная домашняя улыбка, которой она блеснула, была как бы кратким конспектом письма Изабеллы; он схватил его и снова на цыпочках, но уже не дурачась, вышел.

Без нужды могучие плечи Пнина все еще сотрясались. Она закрыла журнал и с минуту рассматривала обложку: игрушечно-яркие крошки-школьники; Изабелла и дочь Гагенов; тенистые деревья, пока еще не у дел; белый шпиль; вэйндельские колокола.

– Она не хочет возвращаться? – тихо спросила Джоана. Пнин – голова на сгибе локтя – начал стучать по столу неплотно сжатым кулаком.

– У меня ничего нет, – стонал Пнин в промежутках между громкими влажными всхлипываниями, – ничего не осталось, ничего!

Глава третья

1

За восемь лет преподавания в Вэйндельском университете Пнин по разным причинам (главным образом из-за шума) менял жилье чуть ли не каждый семестр. Выстроенная в его памяти вся эта череда комнат казалась теперь выставкой расставленных напоказ кресел, кроватей, ламп, каминов, которые, игнорируя все различия пространства и времени, сошлись теперь вместе в мягком освещении мебельного магазина, а снаружи идет снег, сумерки сгущаются, и, в сущности, никто никого не любит. Комнаты вэйндельского периода выглядели особенно пригоже в сравнении с той, что была у него в Нью-Йорке между Центральным парком и Риверсайдом, в том незабываемом квартале, где вдоль панели валялся бумажный сор, блестела собачья куча, на которой кто-то уже поскользнулся, и где какой-то мальчишка без устали колошматил мячом о ступени высокого бурого крыльца; но даже эта комната казалась Пнину (в голове которого все еще отдавался стук мяча) прямо эгогольской, когда он сравнивал ее со старым, теперь уже полузанесенным пылью пристанищем его долгой средневропейской, нансенско-паспортной эпохи.

С годами, однако, Пнин сделался привередлив. Он уже не довольствовался красивой обстановкой. Вэйндель был тихий городишко, а Вэйндельвиль, лежавший среди холмов, и подавно; но не было такого места, которое показалось бы Пнину достаточно спокойным. В самом начале его здешней жизни у него была квартира об одной комнате в заботливо обставленном университетском Доме для несемейных преподавателей, очень милым заведении, несмотря на некоторые неудобства общинного быта («Пнин, сыграете в пинг-понг?» – «Я уже не играю в детские игры»); но потом появились какие-то мастерские и принялись сначала буравить дыры в мостовой (что на улице Черепной коробки в Пнинграде), а потом заделывать их, а потом опять сверлить, и это продолжалось – приступами черных зигзагов, сменявшихся оглушенными паузами, – по целым неделям, и казалось, что им уже никогда не отыскать того безценного инструмента, который они по ошибке там закопали. Была еще комната (если выбирать там и сям только главных обидчиков) в абсолютно непроницаемом на первый взгляд «Герцогском павильоне» в Вэйндельвиле: превосходный кабинет, над которым, однако, каждый вечер начинался (переменяясь грохотом каскадов в уборной и буханьем дверей) угрюмый топот двух чудовищных статуй на первобытных каменных ногах – образ, с трудом вязавшийся с субтильным на самом деле сложением его верхних соседей, каковыми оказались Старры, с кафедры изящных искусств («Меня зовут Христофор, а это Луиза»), ангельски кроткая чета, живо интересовавшаяся Достоевским и Шостаковичем. Была и еще более уютная спальня-кабинет (в других меблированных комнатах), где никто не вламывается к тебе ради дарового урока русского языка; но как только грозная вэйндельская зима стала пронизывать этот уют своими острыми сквознячками (а дуло не только от окна, но даже из шкапа и из штепселей), комната обнаружила род какого-то помешательства или таинственной мании – именно, началось неискоренимое бормотание более или менее классической музыки, странным образом исходившей из покрашенного серебряной краской радиатора Пнина. Он пробовал приглушить ее

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
одеялом, как певчую птицу в клетке, но пение упрямо продолжалось до тех пор, пока престарелую мать госпожи Тэер не перевезли в больницу, где она и скончалась, после чего радиатор внезапно заговорил на канадском диалекте французского языка.

Испробовал он и обиталища другого типа: снимал комнаты в частных домах, которые, хотя и во многом отличались друг от друга (не все, например, были дощаты: попадались и оштукатуренные или хотя бы отчасти оштукатуренные), имели одну общую черту: на этажерках в гостиной или на лестничных площадках неизменно присутствовали Хендрик Биллем ван Лун и д-р Кронин; их могла разлучать стайка иллюстрированных журналов, или какой-нибудь глянцеви́тый и добротный исторический роман, или даже представляющая кого-нибудь в лицах г-жа Гарнетт [18] (и в таких домах уж непременно висит где-нибудь плакат Тулуз-Лотрека), но эта пара присутствовала непременно, обмениваясь взглядами дружеского узнавания, как двое старых приятелей в людной компании.

2

На какое-то время он вернулся в Университетский Дом, но тогда и бурильщики мостовой тоже туда вернулись, да к тому же там объявились и другие раздражающие минусы. Теперь Пнин снимал спальню (розовые стены, белые воланы) во втором этаже клементсовского дома, и это был первый дом, который ему действительно нравился, и первая комната, в которой он прожил больше года. К этому времени он вытравил все следы прежней ее обитательницы, или так ему казалось, ибо он не замечал и никогда, должно быть, не заметил бы смешной рожицы, нацарапанной на стенке прямо за изголовьем кровати, и полустершихся карандашных отметок роста на дверном косяке, начиная с четырех футов в 1940-м году.

Вот уже больше недели весь дом был в распоряжении Пнина: Джоана Клементс отправилась аэропланом на Запад навестить замужнюю дочь, а спустя несколько дней, в самом начале своего весеннего курса философии, улетел туда и профессор Клементс, которого вызвали телеграммой.

Наш приятель не спеша съел брекфаст, состоявший большею частью из продуктов молока, которое продолжали поставлять, и, как обычно, в половине десятого собрался идти в университет.

Мне становится тепло на душе, когда я вспоминаю его российско-интеллигентский способ надевать пальто: его склоненная голова обнаруживала тогда свою идеальную лысину, а большой, как у Герцогини из Страны Чудес, подбородок крепко прижимался к перекрестку концов зеленого кашнэ, удерживая его на груди, покамест он, сильно дергая широкими плечами, норовил попасть в оба рукава сразу; рывок-другой, и вот пальто надето.

Он подхватил портфель, проверил его содержимое и вышел вон. Отойдя на расстояние, с которого мальчишки-разносчики швыряют с улицы на крыльцо газеты, он вдруг вспомнил, что университетская библиотека просила его срочно вернуть книгу, понадобившуюся другому читателю. Одно мгновение он боролся с собой: эта книга была еще нужна ему; но добросердый Пнин слишком сильно сочувствовал страстному призыву другого (неведомого) ученого, чтобы не вернуться за толстым и увесистым фолиантом. То был том 18-й – посвященный в основном Толстому – «Советского золотого фонда литературы, Москва – Ленинград, 1940 г.».

3

Органы, участвующие в производстве звуков английской речи, суть: гортань, небо, губы, язык (полишинель этой труппы) и, наконец, – и не в последнюю очередь – нижняя челюсть, на преувеличенное и несколько жевательное движение которой по преимуществу налегал Пнин, переводя в классе пассажи из русской грамматики или какое-нибудь стихотворение Пушкина. В то время как его русский язык был музыкою, его английский был какофонией. Ему с огромным трудом («дзификультси», на пнинском английском) давалась депалатализация, и он так и не научился избавляться от чрезмерной влажности русских «т» и «д» (перед гласными), которые он так забавно смягчал. «hat» [шляпа] у него звучало взрывчато: «я никогда не ношу шляпу, даже зимой», – и отличалось от обычного американского произношения «hot» [жарко], свойственного, например, вэйндельским жителям, только своею краткостью и оттого очень походило на немецкий глагол «hat» [имеет]. Все долгие «о» у него неизбежно превращались в краткие: его «по» [нет] было положительно итальянским, что еще усугублялось его манерой утраивать простое отрицание: «Вас подвезти, г-н Пнин? – Но-но-но, мне отсюда всего два шага». Он не владел (не

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
подозревая, впрочем, об этом) долгим «у»: то, что ему удавалось произнести, когда надо было сказать «пооп» [полдень], было рыхлым гласным немецкого «pip» [теперь] («По вторникам у меня нет классов пополудни» [«ин афтернун»]. «Сегодня вторник»).

Вторник-то вторник, но какое сегодня число, спросим мы. День рождения Пнина, например, приходился на третье февраля по юлианскому календарю, по которому он родился в Петербурге в 1898-м году. Он теперь никогда не праздновал его, – отчасти потому, что после того, как он покинул Россию, этот день как-то незаметно проскальзывал в одежде грегорианского стиля (с опозданием на тринадцать – вернее, на двенадцать дней), отчасти же потому, что в продолжение академического года его жизнь главным образом следовала ритму «повтосрече – пясувос».

Вот он вывел дату на черной, затуманенной мелом доске [блэкборд], которую остроумно именовал «серой» [грэйборд]. Он еще ощущал в локтевом сгибе тяжесть Зол. Фонд Лит'а. Написанная на доске дата не имела никакого отношения к тому дню, который теперь был в Вэйндеде: «26 декабря 1829».

Он старательно ввинтил жирную белую точку и прибавил пониже: «3.03 пополудни. Санкт-Петербург».

Все это послушно переписали в свои тетрадки Франк Бакман, Роза Бальзамо, Питер Волков, Ирвинг Д. Герц, красавица и умница Мэрилин Гон, Франк Карроль, Джон Мид и Аллан Брэдбери Уолш.

Пнин снова уселся за стол, зыблясь безмолвным весельем: у него для них был приготовлен рассказ. Эта фраза в дурацкой русской грамматике, «Брожу ли я вдоль улиц шумных», была на самом деле началом одного знаменитого стихотворения. Хотя в этом начальном русском классе Пнину полагалось придерживаться грамматических упражнений («Мама, телефон! Брожу ли я вдоль улиц шумных. От Владивостока до Вашингтона 5000 миль»), он пользовался всяким удобным случаем, чтобы увести своих студентов на какую-нибудь литературную или историческую экскурсию.

На пространстве восьми четырехстопных четверостиший Пушкин описывает свою всегдашнюю несчастную привычку – где бы он ни был, чем бы ни был занят – предаваться размышлениям о смерти и кропотливо исследовать каждый прожитый день, пытаясь угадать в его тайном значении некую «грядущую годовщину»: день и месяц, которые где-нибудь, когда-нибудь появятся на его надгробном камне.

– «...And where will fate send me» – будущее несовершенное – «death», – вдохновенно декламировал Пнин, запрокинув голову и переводя с отважной дословностью – «in fight, in travel, or in waves? Or will the neighboring dale» – то же, что по-русски «долина», или, как бы мы теперь сказали – «valley» – «accept my refrigerated ashes», poussière, «cold dust», может быть, так точнее... – «And though it is indifferent to the insensible body...»

Пнин дошел до конца, а потом, театральным жестом указывая на доску кусочком мела, который он все еще держал в руке, обратил внимание слушателей на то, как тщательно отметил Пушкин день и даже минуту записи этого стихотворения.

– Но, – воскликнул Пнин с торжеством, – он умер в совсем, совсем другой день! Он умер —

Спинка стула, на которую Пнин сильно опирался, издала зловеющий треск, и класс разрядил вполне понятное напряжение громким молодым смехом.

(Когда-то, где-то – в Петербурге? в Праге? – один фигляр-музыкант вытянул рояльный вертящийся стул из-под другого, но тот как ни в чем не бывало продолжал шпарить свою рапсодию в сидячем, хоть и без сиденья, положении. Но где, где? В цирке Буша в Берлине!)

4

В перерыве между отпущенной начальной группой и уже начавшей просачиваться старшей Пнин оставался в классной комнате. Кабинет, где теперь на картотеке лежал Зол. Фонд Лит., полузавернутый в пнинский зеленый шарф, помещался на другом этаже, в конце гулкового коридора, по соседству с профессорской уборной. До 1950-го года (а теперь у нас 1953-й – как годы летят!) у него был на немецком

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru факультете общий кабинет с Миллером, одним из младших преподавателей, а потом ему отдали в безраздельное пользование кабинет «Р», прежде служивший кладовой, но теперь заново отделанный. В продолжение весны он любовно пнинизировал его. Получил он его с двумя жалкими стульями, пробковой доской для объявлений, забытой уборщиком жестяной мастики для пола и убогим письменным столом неопределенного дерева. Он ухитрился выпросить у администрации небольшую стальную картотеку с восхитительным запором. Под руководством Пнина молодой Миллер обнял и притащил пнинскую часть разборного книжного шкапа. У старой г-жи Мак-Кристал, в белом деревянном доме которой Пнин однажды не очень удачно прожил зиму (1949–1950), он купил за три доллара выцветший, некогда турецкий коврик. С помощью того же уборщика он привинтил сбоку стола чинилку для карандашей – доставляющий высокое удовлетворение глубокомысленный прибор, который во время работы издает свое «тикондерога-тикондерога» [19], поедая мягкую, с желтой каемкой, древесину, и вдруг срывается в какую-то беззвучно вращающуюся неземную пустоту, – что и всех нас неизбежно ожидает. Были у него и другие, еще более дерзкие планы, например завести кресло и торшер. Возвратившись в свой кабинет после летнего преподавания в Вашингтоне, Пнин обнаружил там жирного пса, спавшего на его коврике, а мебель его была сдвинута в темный угол комнаты, чтобы очистить место для великолепного письменного стола из нержавеющей стали и поставить ему вертящегося стула, на котором сидел, что-то строча и улыбаясь самому себе, недавно импортированный австрийский ученый, д-р Бодо фон Фальтернфельс; и с той поры, поскольку это касалось Пнина, кабинет «Р» утратил всю свою привлекательность.

5

В полдень Пнин, по своему обыкновению, вымыл руки и голову.

Из кабинета «Р» он забрал пальто, кашнэ, книгу и портфель. Д-р Фальтернфельс писал и улыбался; его сандвич был наполовину развернут; собака его околела. Пнин спустился мрачной лестницей и прошел через Музей ваяния. Корпус гуманитарных наук, где, впрочем, ютились также Орнитология и Антропология, соединялся с другим кирпичным зданием, Фриз-Холлом, где размещались столовые и профессорский клуб, посредством довольно затейливой решетчатой галереи: она сперва поднималась отлого, потом круто поворачивала и брела вниз, навстречу будничному запаху картофельного хвороста и скучного, рационально сбалансированного стола. Летом ее шпалеры оживлялись трепещущими цветами; но теперь ее наготу насквозь продувал ледяной ветер, и кто-то надел найденную красную рукавицу на рыльце мертвого фонтана, от которого ответвление галереи вело к дому президента.

Президент Пур, высокий, степенный, пожилой человек в темных очках, начал терять зрение года два тому назад и теперь почти совсем ослеп. Однако он с постоянством солнца ежедневно появлялся в Фриз-Холле, ведомый своей племянницей и секретаршей. Он входил с величавостью античной статуи, шествуя к незримому завтраку во тьме своего отдельного от окружающих пространства, и хотя все давно привыкли к его трагическому появлению, а все-таки, пока его подводили к его резному стулу и он ошупывал край стола, неизменно пробегала тень тишины; и странно было видеть прямо позади него, на стене, его же стилизованное подобие в сиреновом двубортном костюме и терракотовых ботинках, глядящее сияющими фуксиновыми глазами на свитки, вручаемые ему Рихардом Вагнером, Достоевским и Конфуцием – эту группу лет десять тому назад Олег Комаров с кафедры изящных искусств вписал в знаменитую фреску Ланга 1938-го года, которая кругом всей столовой хороводом вела процессию исторических лиц и вейндельских профессоров.

Пнин, желая кое о чем спросить своего соотечественника, сел с ним рядом. Этот Комаров, из казаков, был коротенький, коротко остриженный человек с ноздрями как у черепа. Они с Серафимой, его крупной, радушной москвичкой-женой, носившей на длинной серебряной цепочке тибетский амулет, который свешивался на ее большой, мягкий живот, время от времени устраивали «русские» вечера, с «русскими» закусками и гитарой и более или менее фальшивыми народными песнями, и там застенчивых аспирантов обучали обряду вкушения водки и прочим затхлым русским обычаям; и, встречаясь после таких пирушек с неприветливым Пниным, Серафима и Олег (она – возводя глаза к небесам, он – прикрыв свои рукою), бывало, бормотали, благоговейно изумляясь собственной щедрости: «Господи, сколько мы им даем!» – разумея под «ними» безнадежно-темных американцев. Только другому русскому была понятна эта смесь черносотенства с советофильством, свойственная псевдокрасочным Комаровым, для которых идеальная Россия состояла бы из Красной Армии, помазанника-государя, колхозов, антропософии, Русской Церкви и гидроэлектростанций. Пнин и Олег Комаров обыкновенно находились в состоянии

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
приглушенной вражды, но встречи были неизбежны, и те из их американских коллег, которые считали Комаровых «чудными людьми» и передразнивали чудаковатого Пнина, были уверены, что живописец с Пниным большие друзья.

Не прибегая к очень специальному исследованию было бы трудно сказать, который из них, Пнин или Комаров, хуже говорил по-английски; пожалуй, что Пнин; но по причине своего возраста, общего образования и чуть более давнего американского гражданства он находил возможным поправлять частые английские интерполяции Комарова, и Комарова это бесило даже больше, чем «антикварный либерализм» Пнина.

– Послушайте, Комаров, – несколько безцеремонно обратился к нему Пнин, – я не могу понять, кому еще здесь могла понадобиться эта книга; уж наверное не моим студентам, а если вам, то не понимаю, для чего она вам.

– Ни для чего, – ответил Комаров, мельком взглянув на книгу. – Нот интересид (не интересуюсь), – добавил он по-английски.

Пнин раза два беззвучно пошевелил губами и нижней челюстью, хотел что-то сказать, не сказал и снова принялся за салат.

6

Был вторник, а значит, он мог пойти в свое излюбленное прибежище сразу после завтрака и оставаться там до обеда. Библиотека Вэйндельского колледжа не присоединялась никакими галереями к другим зданиям, но она была сокровенно и прочно связана с сердцем Пнина. Он шел мимо огромной бронзовой статуи первого президента университета Альфеуса Фриза – в спортивном картузе и бриджах, держащего за рога бронзовый велосипед, на который он был обречен вечно пытаться сесть, судя по левой ноге, навеки приклеившейся к левой педали. Снег лежал на седле, снег лежал в нелепом лукошке, которое какие-то недавно проходившие проказники повесили на руль. «Хулиганы», – негодовал Пнин, качая головой, – и слегка поскользнулся на плитняке дорожки, извилисто сбегавшей по муравчатому скату среди безлистных ильмов. Помимо толстого тома подмышкой правой руки он нес в левой свой старый, средневропейской разновидности черный портфель и мерно покачивал его на кожаной скобке, шагая к своим книгам, к своей рабочей келье среди стеллажей, к своему раю русской литературной стихии.

Вытянувшаяся эллипсом голубиная стая в круговом полете – то серая (паренье), то белая (взмах крыльев), и вот опять серая – колесила по прозрачному бледному небу над университетской библиотекой. Вдали печально, как в степи, свистнул поезд. Щуплая белка сиганула через залитый солнцем снежный островок, на котором тень от ствола, оливково-зеленая на дерне, делалась дальше серо-голубой, а само дерево, коротко поскрипывая, голо поднималось к небу, где в третий и последний раз пронесли голуби. Белка, теперь невидимая в развилке, зататорила, распекая злоумышленников, которые посмели бы согнать ее с дерева. Пнин снова поскользнулся на грязном черном льду брусчатой тропинки, резко выбросил одну руку, выправился и, одиноко улыбнувшись, нагнулся, чтобы подобрать Зол. Фонд Лит., при падении раскрывшийся на снимке русского луга, по которому по направлению к фотографическому аппарату брел Лёв Толстой, а за ним стояли долгогривые лошади, тоже повернувшие к фотографу свои простодушные морды.

В бою ли, в странствии, в волнах? На кампусе в Вэйнделе? Слегка посасывая вставную челюсть, к которой пристала клейкая нашлапка творога, Пнин поднялся по скользким ступеням библиотеки.

Подобно многим пожилым профессорам, Пнин давно перестал замечать существование студентов на кампусе, в коридорах, в библиотеке – одним словом, повсюду, кроме их функционального присутствия в классных комнатах. Сначала его чрезвычайно удручал вид иных из них, положивших свои бедные молодые головы на руки и крепко спавших посреди развалин человеческого знания; но теперь он уж никого не замечал в читальной зале, если не считать видневшихся там и сям прелестных девичьих затылков.

За абонементным столом сидела миссис Тээр. Ее мать приходилась двоюродной сестрой матери миссис Клементс.

– Как поживаете, профессор Пнин?

– Я поживаю очень хорошо, миссис Файер.

- Что, Лоренс и Джоана не вернулись еще?
- Нет. Я принес эту книгу назад, потому что я получил открытку –
- Уж не собирается ли бедняжка Изабелла в самом деле разводиться?
- Не слыхал. Разрешите мне спросить, миссис Файер –
- Наверное, придется нам подыскивать для вас другую комнату, если они привезут ее с собой.
- Разрешите у вас кое-что спросить, миссис Файер. Вот открытка, которую я получил вчера, – не могли бы вы сообщить мне, кто этот другой читатель?
- Сейчас проверим.

Она проверила. Другим читателем оказался Тимофей Пнин; том 18-й был затребован им в прошлую пятницу. Правда было и то, что этот восемнадцатый том уже числился за этим же Пниным, который держал его с Рождества и теперь стоял, положив на него руки, напоминая фамильный портрет какого-то судьи.

– Этого не может быть! – воскликнул Пнин. – В пятницу я заказал том девятнадцатый тысяча девятьсот сорок седьмого года, а не восемнадцатый тысяча девятьсот сорокового.

– Но посмотрите – вы написали «том восемнадцать». Во всяком случае, девятнадцатый еще в обработке. Этот вы оставляете за собой?

– Восемнадцатый, девятнадцатый, – бормотал Пнин, – разница небольшая. Я правильно указал год, вот что важно! Да, мне еще нужен восемнадцатый, и пришлите мне более деловитую открытку, когда девятнадцатый будет готов.

Ворча себе под нос, он отнес громоздкую, сконфуженную книгу в свою любимую нишу и там оставил ее, завернув в кашнэ.

Эти женщины не умеют читать. Год был указан совершенно ясно.

Как обычно, он отправился в журнальную и пробежал там раздел новостей в последнем (за субботу, 12 февраля, – а то был вторник, о невнимательный читатель!) номере русской ежедневной газеты, издававшейся с 1918-го года эмигрантской организацией в Чикаго. Как и всегда, он внимательно прочитал объявления. Д-р Попов, сфотографированный в своем новеньком белом халате, сулил пожилым людям прилив новых сил и радости. Музыкальная фирма печатала перечень предлагаемых покупателю русских граммофонных пластинок, например вальса «Разбитая жизнь» и «Песенки фронтового шофера». Несколько гоголевский хозяин похоронного бюро расхваливал свои люксовые катаfalки, которые могли быть арендованы и для пикников. Другой гоголевский персонаж из Майами предлагал «квартиру из двух комнат для трезвых; вокруг фруктовые деревья и цветы», а в Хаммонде с задумчивой грустью отдавалась внаем комната в «небольшом тихом семействе», и вдруг без всякой особенной причины, с горячей и абсурдной ясностью читавший увидел своих родителей – д-ра Павла Пнина и Валерию Пнину, его с медицинским журналом, ее с политическим, сидевших в креслах один напротив другого в небольшой, весело освещенной гостиной на Галерной в Петербурге, сорок лет тому назад.

Просмотрел он и свежее продолжение чрезвычайно длинной и скучной полемики трех эмигрантских течений. Ее затеяла партия А, обвинившая партию В в инертности, иллюстрируя это пословицей «И на елку бы лез, и ног бы не ободрал». В ответ появилось едкое письмо к издателю от «Старого оптимиста», озаглавленное «Елки и инертность» и начинавшееся так: «Есть старая американская поговорка: „Если живешь в оранжерее, не пытайся убить двух птиц одним камнем"». В последнем номере был фельетон в две тысячи слов – присланный представителем партии С – под названием «О елках, оранжереях и оптимизме», и Пнин прочел его с живым интересом и сочувствием.

Затем он вернулся в свою каморку к собственным изысканиям. Он замышлял написать *Petite Histoire* русской культуры, где собрание русских курьезов, обычаев,

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
литературных анекдотов и т. п. было бы представлено таким образом, чтобы в нем отразилась в миниатюре la Grande histoire, Великая Взаимосвязь Событий. Он был еще в блаженной стадии сбора материалов, и немало хороших молодых людей почитало за удовольствие и честь наблюдать за тем, как Пнин извлекает ящик с карточками из глубоких недр каталожного шкапа и несет его, как большой орех, в уединенный закуток и там добывает себе из него скромную духовную пищу, – то шевеля губами в беззвучных замечаниях – критических, довольных, недоумевающих, то вздымая свои зачаточные брови и забывая их высоко на просторном челе, где они оставались еще долго после того, как всякого неудовольствия или сомнения простывал и след. То, что он оказался в Вэйнделе, было большой удачей. Как-то в девяностых годах гостеприимную Россию посетил выдающийся библиофил и славист Джон Тэрстон Тодд (его бородатый бюст красовался над питьевым фонтанчиком), а после его смерти книги, которые он там собрал, были без дальних слов свалены в отдаленное хранилище. Надев резиновые перчатки, чтобы избежать укулов «американского» электричества, обитавшего в металлических полках, Пнин, бывало, навещал эти книги и упивался их видом: тут были малоизвестные журналы бурных шестидесятых годов в мрамористых обложках; столетней давности исторические монографии, дремотные страницы которых покрыты были рыжими пятнами плесени; русские классики с ужасными и трогательными камнями на переплетах, с тиснеными на них профилями поэтов, напоминавшими прослезившемуся Тимофею его отрочество, когда он, бывало, машинально водил пальцем по несколько потертому пушкинскому бакенбарду или запачканному носу Жуковского.

Сегодня Пнин, с отнюдь не горестным вздохом, приступил к выписыванию из объемистого труда Костромского о русских легендах (Москва, 1855 г.) – редкой книги, которую не позволялось уносить из библиотеки, – места с описанием древних языческих игрищ, которые тогда еще были распространены в лесистых верховьях Волги наряду с христианским обрядом. Всю праздничную майскую неделю – так называемую зеленую, постепенно превратившуюся в Неделю Пятидесятницы, – деревенские девушки свивали венки из лютиков и любки; потом они развешивали свои гирлянды на прибрежных ивах, напевая мелодии старинных любовных распевов; а в Троицын день венки стряхивались в реку иплыли, развиваясь словно змеи, и девушки плавали среди них и пели.

Тут у Пнина мелькнула странная словесная ассоциация; он не успел схватить ее за русалочий хвост, но сделал пометку на справочной карточке и снова погрузился в Костромского.

Когда Пнин снова поднял глаза, оказалось, что пора идти обедать.

Сняв очки, он потер костяшками державшей их руки свои обнаженные утомленные глаза и, пребывая все еще в задумчивости, уставился кротким взором в высокое окно, за которым, рассеивая его размышления, постепенно сгущался фиалково-синий воздух сумерок, в серебряных узорах от флуоресцирующего света с потолка, между тем как среди черных паукообразных веток проступал отраженный ряд ярких книжных корешков.

Прежде чем покинуть библиотеку, он решил проверить, как правильно произносится причастие от английского глагола «интересоваться», и обнаружил, что Вэбстер – по крайней мере то его потрепанное издание 1930-го года, которое лежало на столике в читальне, – не ставит ударения на третьем слоге, как он полагал правильным (интерэ́стид). Он поискал в конце список опечаток, такового не нашел и, уже захлопнув слоноподобный лексикон, с досадой спохватился, что замуровал где-то внутри карточку с заметками, которую все время держал в руках. Листай вот теперь все 2500 тоненьких страниц, из которых иные разорваны! На его возглас к нему подошел учтивый мистер Кейс, долговязый, розовощекий библиотекарь с прилизанными белыми волосами и галстуком бабочкой; он поднял колосса за обе корки, перевернул его и слегка встряхнул, после чего оттуда выпали: карманная гребенка, рождественская открытка, заметки Пнина и прозрачный призрак папиросной бумаги, совершенно безучастно слетевший к ногам Пнина и возвращенный мистером Кейсом на свое место при Больших Печатах Соединенных Штатов и их Территорий.

Пнин сунул карточку в карман и тут же без всякого повода вспомнил, чего не мог вспомнить давеча:

«...плыла и пела, пела и плыла...»

Ну, конечно же! Смерть Офелии! «Гамлет!» В русском переводе старого доброго Андрея Кронеберга 1844-го года – отрада юных дней Пнина, и отца Пнина, и деда!

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Помнится, там тоже, как и у Костромского, ива, и тоже венки. Но где бы это как следует проверить? Увы, «Гамлет» Вильяма Шекспира не был приобретен мистером Тоддом, в библиотеке Вэйндельского колледжа не числился, и если вам зачем-нибудь понадобится справиться в английской версии, то вы никогда не найдете той или другой прекрасной, благородной, звучной строчки, которую всю жизнь помните по Кронебергу в отличном венгерском издании. Печально!

На печальном кампусе совсем стемнело. Над дальними, еще более печальными холмами, под облачной грядой медленно гасло глубокое черепаховое небо. Надрывающие сердце огни Вэйндельвиля, пульсируя в складке этих сумеречных холмов, приобретали свой всегдашний волшебный вид, хотя на самом деле, и Пнин хорошо это знал, там на поверку не было ничего, кроме ряда кирпичных домов, бензиновой станции, скэтингринга и супермаркета. По дороге к маленькому кабачку в Библиотечном переулке, где его ждала большая порция виргинской ветчины и бутылка хорошего пива, Пнин вдруг почувствовал страшную усталость. И не только потому, что том Зол. Фонда после своего никому не нужного визита в библиотеку стал еще тяжелее; но что-то такое, что Пнин в продолжение всего дня слышал вполуха, но не хотел вслушаться, теперь томило и долило его, как может угнетать воспоминание о совершенной оплошности, о грубости, которую мы себе позволили, или об угрозе, которой мы решили пренебречь.

7

Не спеша принявшись за вторую бутылку, Пнин дебатировал сам с собою, что делать дальше, или, вернее, посредничал в переговорах между Пниным Утомленным, который последнее время дурно спал, и Пниным Ненасытным, желавшим, как всегда, почитать еще дома до двухчасового товарного, оглашавшего стонами свой путь через долину. В конце концов решено было, что он ляжет спать сразу после окончания концертной программы, которую каждый второй вторник в Новом Холле устраивают неутомимые Христофор и Луиза Старр, – довольно высокого уровня музыка и довольно необычные кино-картины, которые президент Пур, отвечая в прошлом году на чью-то нелепую критику, назвал, «быть может, самым вдохновляющим и самым вдохновенным мероприятием нашего академического сообщества».

З. Ф. Л. теперь спал у Пнина на коленях. Слева от него сидели два студента-индуса. Справа – несколько взбалмошная дочь профессора Гагена, изучавшая драматургию. Комаров, слава Богу, сидел слишком далеко позади, чтобы сюда долетали его малоинтересные замечания.

Первая часть программы – три очень старенькие короткие фильмы – нагнала на нашего приятеля скуку: ни тросточка, ни котелок, ни белое лицо, ни черные брови дугой и подрагивающие ноздри его совершенно не трогали. Плясал ли несравненный комик под ярким солнцем с нимфами в веночках по соседству с поджидающим кактусом, или был первобытным человеком (гибкая трость превращалась в этом случае в гибкую дубину), или невозмутимо выдерживал свирепый взгляд джего Мак Свэна в ходуном ходящем ночном кабаре, – старомодный, безъюрный Пнин оставался равнодушен. «Шут, – фыркал он про себя, – Глупышкин и Макс Линдер и то были смешней».

Вторая часть программы состояла из внушительной советской хроники, снятой в конце сороковых годов. В ней не предполагалось ни капли пропаганды, одно чистое искусство, увеселенье, блаженство гордого собой труда. Миловидные, нехоленые девушки маршируют на незапамятном Весеннем Празднестве, неся полотнища с отрывками из старинных русских песнопений: «Руки прочь от Кореи», «*Bas les mains devant la Corée*», «*La paz vencera a la guerra*», «*Der Friede besiegt den Krieg*» [20]. Санитарный аэроплан пролетает над заснеженным хребтом в Таджикистане. Киргизские актеры посещают обсаженную пальмами санаторию для углекопов и дают там импровизированное представление. С горного пастбища где-то в Осетии чабан рапортует по полемому радио о рождении ягненка местному министерству сельского хозяйства. Сияет огнями московское метро: колонны, изваяния и шестеро ожидающих поезда пассажиров, сидящих на трех мраморных скамьях. Семья фабричного рабочего тихо проводит вечер дома, под большим шелковым абажуром: все разодеты, сидят в гостиной, загроможденной декоративными растениями. Восемь тысяч поклонников футбола смотрят матч «Торпедо» и «Динамо». Восемь тысяч граждан на московском заводе электроприборов единодушно избирают Сталина кандидатом от Сталинского избирательного округа Москвы. Последняя легковая модель ЗИМа выезжает с уже виденной семьей фабричного рабочего и еще несколькими пассажирами на загородную прогулку с обедом на вольном воздухе. А засим –

«Не нужно, не нужно, ах, как это глупо», – говорил себе Пнин, чувствуя, что слезные железы – безотчетно, смешно, унижительно – источают свою горячую, ребяческую, неудержимую влагу.

В мареве солнечного света, который дымчатыми столбами пронизывал воздух меж белых березовых стволов, окатывал плакучую листву, дрожал глазками на коре, стекал в высокую траву, играл и курился среди призраков черемух в чуть смазанном цвету – глухой русский лес обступил путника. Через лес пролегла старая дорога с двумя неглубокими колеями и нескончаемой процессией грибов и ромашек. Путник продолжал мысленно идти по этой дороге на докучном обратном пути в свое анахроническое жилье; он опять, был юношей, бродившим по этим лесам с толстой книгой подмышкой; дорога вывела к романтическому, раздольному, любимому светлomu простору большого поля, не скошенного временем (лошади скачут прочь меж высоких цветов, вскидывая серебристыми гривами), когда дремота одолела Пнина, теперь уже удобно устроившегося в постели, в соседстве двух будильников (один поставлен на 7.30, другой на 8), клохтавших и клекотавших на ночном столике.

Комаров в небесно-голубой рубашке склонился над гитарой, настраивая. Праздновалось чье-то рождение, и невозмутимый Сталин с глухим стуком опустил свой шар на выборах правительственных гробоносцев. В бою ли, в стран... в волнах, в Вэйнделе. «Вондерфуль!»[21] – сказал д-р Бодо фон Фальтернфельс, оторвавшись от своих бумаг.

Пнин уже погрузился было в бархатистое забытие, когда на дворе приключилась какая-то ужасная катастрофа: охая и хватаясь за голову, статуя преувеличенно сокрушалась по поводу сломанного бронзового колеса – и тут Пнин проснулся, и караван огней и теневых бугров прошелся по оконной шторе. Хлопнула автомобильная дверца, машина отъехала, ключом отперли хрупкий, прозрачный дом, и разом заговорили три звучных голоса; дом и щель под дверью Пнина, вздрогнув, осветились. Ну вот и озноб, вот и инфекция. Испуганный, безпомощный, беззубый, в одной ночной рубашке, Пнин слушал, как вверх по лестнице колченого, но бодро топает чемодан и пара юных ног взбегают по хорошо знакомым им ступенькам, и уже можно было разобрать шум нетерпеливого дыхания... И впрямь: машинально следуя ритуалу радостных возвращений домой из унылых летних лагерей, Изабелла вполне могла бы пинком отпахнуть дверь в комнату – Пнина! – когда бы ее вовремя не остановил упреждающий оклик матери.

#### Глава четвертая

##### 1

Король (его отец), в снежно-белой спортивной рубашке с открытым воротом и совершенно черном спортивном пиджаке, сидел за большим столом, отполированная поверхность которого отражала верхнюю половину его тела – вниз головой, – превращая его в фигурную карту. Стены просторной, обшитой деревом комнаты были увешаны фамильными портретами. В остальном же она мало чем отличалась от кабинета директора гимназии Св. Варфоломея на Атлантическом побережье, в пяти приблизительно тысячах верст к западу от воображаемого Дворца. Сильный весенний ливень хлестал в большие стекла балконных дверей, за которыми дрожала и струилась молодая глазастая листва. Казалось, что ничто, кроме этой пелены дождя, не отделяет и не защищает Дворец от мятежа, вот уже несколько дней бушевавшего в городе... На самом же деле отец Виктора был доктор-эмигрант с неприятными причудами, которого мальчик никогда особенно не любил и вот уже скоро два года как не видал.

Король, его более правдоподобный отец, решил не отрекаться. Газеты не выходили. Ориент-Экспресс, со всеми своими транзитными пассажирами, застрял на пригородной станции, где на перроне стояли, отражаясь в лужах, живописные крестьяне, глазющие на занавешенные окна таинственных длинных вагонов. И Дворец, и его террасами спускающиеся сады, и город у подножья дворцового холма, и главная городская площадь, где, несмотря на дурную погоду, уже начались казни и народные гулянья, – все это находилось в самом сердце некоего креста, перекладины которого оканчивались в Триесте, Граце, Будапеште и Загребе, согласно Справочному атласу мира Рэнд Мак-Нэлли. А в самой сердцевине этого сердца сидел Король, бледный и невозмутимый, и в общем чрезвычайно похожий на своего сына, каким этот школьник представлял себя в сорок лет. Бледный и невозмутимый, с чашкой кофе в руке, Король сидел спиной к изумрудно-серому окну и слушал маскированного вестника, дородного старого вельможу в мокром плаще, несмотря на мятеж и дождь, пробравшегося из осажденного Государственного совета в окруженный

Дворец.

– «Абдикация»! Да это целая четверть алфавита! – холодно сострил король, который говорил с легким акцентом. – Никакого отречения. Предпочитаю неизвестную величину экспатриации.

Говоря это, король – вдовец – бросил взгляд на настольную фотографию покойной красавицы, на ее большие синие глаза и карминовый рот (это была цветная фотография, вещь не царская, но не беда). Неожиданно рано зацветшая сирень исступленно колотилась в забрызганные стекла, как ряженые, которых не пустили в дом. Старик-вестник отвесил поклон и попятился через пустыню кабинета, размышляя про себя, не разумнее ли ему махнуть рукой на историю и укатить в Вену, где у него было именище... Конечно, на самом деле мать Виктора была жива; она бросила его будничного отца, д-ра Эриха Винда (проживавшего в настоящее время в Южной Америке), и собиралась замуж в Буффало за некоего Чёрча.

Каждую ночь Виктор предавался этим безобидным мечтам, пытаясь заманить сон в свой холодный, звукопроницаемый закуток неугомонного дортуара. Обыкновенно он не доходил до самого решительного эпизода побега, когда король один-одинешенек – solus rex, как составители шахматных задач именуют одинокого короля на доске, – мерял шагами пляж Богемского взморья у Стрелки Бурь, где Персиваль Блэйк, беспечный американец, искатель приключений, обещал выйти к нему на мощном катере. Именно отсрочивание этого захватывающего и утешительного эпизода, затягивание его прелести, приливавшей на гребне одного и того же раз за разом разыгрываемого вымысла, и приводили в действие его усыпляющий механизм.

Итальянская фильма, снятая в Берлине для американского потребителя, в которой какого-то юнца с одичалым взором, в помятых коротких штанах, преследует по трущобам и развалинам и борделям какой-то международный агент; инсценировка «Очного цвета» [22], недавно показанная в соседней святомарфинской школе для девочек; анонимный рассказ в духе Кафки в некогда авангардном журнальчике, прочитанный вслух в классе г-ном Пеннантом, скучного вида англичанином с замечательным прошлым; и не в последнюю очередь давно отстоявшийся осадок разных домашних упоминаний о бегстве русских образованных людей от ленинского режима тридцать пять лет тому назад, – вот очевидные источники фантазий Виктора; когда-то они, должно быть, сильно волновали его, но теперь сделались откровенно утилитарными, служа ему простым и приятным снотворным средством.

2

Ему было теперь четырнадцать лет, но выглядел он двумя или тремя годами старше, – не оттого что был долговяз, под шесть футов, а из-за своей непринужденной манеры держаться, из-за выражения дружелюбного равнодушия в простых, но правильных чертах лица и отсутствия всякой угловатости или напряженности, что нисколько не исключало скромности и сдержанности, но придавало какую-то солнечность его застенчивости и учтливую независимость его спокойным повадкам. Коричневое родимое пятно размером с грош под левым глазом подчеркивало бледность его щек. Не думаю, чтобы он кого-нибудь любил.

В его отношениях с матерью горячая детская привязанность давно сменилась нежной снисходительностью, и он только позволял себе мысленно вздыхать, с улыбкой подчиняясь судьбе, когда она на своем беглом и развязном нью-йоркском наречии с резкими металлическими носовыми нотками и съезжанием в неразборчивые русизмы потчевала в его присутствии незнакомых людей историями, которые он слышал сотни раз и которые были либо безсовестно приукрашены, либо прямо сочинены. Еще хуже бывало, когда Эрих Винд, совершенно безъюрный педант, убежденный в безупречности своего английского языка (приобретенного в немецкой гимназии), в обществе таких же незнакомцев отпускал какую-нибудь затасканную остроту, именуя Атлантический океан «прудом», да еще с доверительно-лукавым видом человека, одаряющего слушателей редкой и сочной идиомой. Оба они в качестве психотерапевтов делали все, что было в их силах, чтобы олицетворить собою Лая и Иокасту, но мальчик оказался весьма посредственным маленьким Эдипом. Чтобы не усложнять модного треугольника фрейдоромана (отец, мать, дитя), первого Лизинога мужа никогда не упоминали. Только приблизительно ко времени поступления Виктора в Святоварфоломеевскую школу, когда брак Виндов начал разваливаться, Лиза сообщила ему, что до отъезда из Европы она была женою профессора Пнина. Она сказала, что ее бывший муж тоже переселился в Америку, что он даже скоро повидается с Виктором; и поскольку все, что было Лиза ни говорила (широко раскрывая свои лучистые, синие, с черными ресницами глаза), неизменно

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru приобрело налет некоторой таинственности и романтической, величественный образ Тимофея Пнина, ученого аристократа, преподающего мертвый, можно сказать, язык в знаменитом Вэйндельском университете, в пятистах примерно верстах на северо-запад от Св. Варфоломея, приобрел в гостеприимном воображении Виктора странную прелесть, некое семейное сходство с теми болгарскими королями или средиземноморскими принцами, которые в прежнее время могли быть всемирно известными специалистами по бабочкам или морским раковинам. Поэтому он обрадовался, когда профессор Пнин вступил с ним в солидную и церемонную переписку; за первым письмом, написанным на чудесном французском языке, но довольно дурно напечатанным, последовала открытка с изображением Серой Белки. Открытка эта была из педагогической иллюстрированной серии «Наши млекопитающие и птицы»; Пнин купил всю серию нарочно для этой переписки. Виктору приятно было узнать, что слово «squirrel» (белка) греческого происхождения и значит «тень хвоста». Пнин приглашал Виктора к себе в гости на ближайшие каникулы и сообщал, что встретит его на вэйндельской автобусной станции. «Для того чтобы меня можно было узнать, – писал он (по-английски), – я появлюсь в темных очках и буду держать черный портфель с моей серебряной монограммой».

3

И Эрих, и Лиза Винд были болезненно озабочены «проблемой наследственности», и вместо того, чтобы радоваться художественному дарованию Виктора, угрюмо доискивались его истоков. Искусства и науки были довольно ярко представлены в их родословной. Не восходит ли увлечение Виктора красками к Гансу Андерсену (не состоявшему в родстве с датчанином, которого держат на ночном столике), витражных дел мастеру в Любеке, который помешался (вообразил себя собором) вскоре после того, как его любимая дочь вышла за седого гамбургского ювелира, автора монографии о сапфирах, деда Эриха по материнской линии? Или, может быть, почти патологическая точность карандаша и пера Виктора была побочным следствием научных занятий Боголеповых? Ибо прадед матери Виктора, седьмой сын сельского попа, был тот самый феофилакт Боголепов, своеобразнейший гений, которому среди лучших русских математиков только Лобачевский и был соперник. Трудно сказать.

Гений не подчиняется общим правилам. В два года Виктор не чертил спиралевидных каракулей, чтобы изобразить пуговицу или иллюминаторы, подобно миллионам других детей, почему же ты так не рисуешь? Он любовно выводил свои абсолютно точные, замкнутые окружности. Если трехлетнего ребенка попросить срисовать квадрат, то один угол выйдет у него сносно, а прочие он передаст волнообразной или круглой линией; а Виктор в три года не только скопировал с презрительной точностью далеко не идеальный квадрат, предложенный испытателем (д-ром Лизой Винд), но и прибавил от себя еще один рядом, поменьше. Он миновал ту начальную стадию графической деятельности, когда дети рисуют «kopffüssler'ов» (людей-головастиков) или яйцевидных человечков с ножками-кочережками и руками, заканчивающимися грабельными зубьями; он вообще не рисовал человеческих фигур, и когда Папа (д-р Эрих Винд) заставил его нарисовать Маму (д-ра Лизу Винд), он изобразил нечто восхитительно волнистое, что, по его словам, было ее тенью на новом леднике. К четырем годам он придумал собственную систему подтушевки. В пять он начал изображать предметы в перспективе – правильно укороченную боковую стену здания; уменьшенное расстоянием дерево; один предмет, наполовину заслоненный другим. А в шесть лет Виктор уже различал то, что и не всякий взрослый научается видеть, – цвет тени, разницу в оттенке между тенью апельсина и сливы или аллигаторовой груши.

Для Виндов Виктор был трудным ребенком уже потому, что отказывался быть таковым. С точки зрения Виндов, всякий младенец мужеского пола одержим страстным желанием окопиться отца и ностальгическим стремлением вернуться в утробу матери. Виктор же не обнаруживал никаких изъянов в поведении, не копал в носу, не сосал большого пальца и даже не грыз ногтей. Д-р Винд, желая избежать того, что он, как радиофил, называл «статическими помехами в личных отношениях», попросил чету сторонних людей, молодого д-ра Штерна и его улыбчивую жену («Меня зовут Луис, а это Христина»), пропсихометрировать в Институте своего неприступного ребенка. Но результаты получились или чудовищные, или вовсе никакие: семилетний пациент выдержал так называемое испытание Годунова «Рисуем животное» на потрясающий интеллектуальный балл, соответствующий семнадцати годам, но когда ему предложили тест Фэрвью для взрослых, он тотчас скатился на умственный уровень двухлетнего. Сколько труда, мастерства, находчивости было потрачено на изобретение всех этих восхитительных опытов! Какая досада, что некоторые пациенты упорно не желают делать того, что от них ожидают! Взять, например, испытание на «Абсолютно свободную ассоциацию» (Кент – Розанофф), когда маленьких Джо или Джейн просят

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
ответить на какое-нибудь Наводящее Слово, как то: стол, утка, музыка, больной, большой, низкий, глубокий, длинный, счастье, плод, мать, гриб. Или вот прелестная игра «Любознательность и отношение» (Бьевр) – дождливых вечеров отрада – тут маленьких Сэма или Руби просят сделать пометочку около тех слов, которых они побаиваются, как например: смерть, паденье, сон, циклоны, похороны, отец, ночь, операция, спальня, уборная, конвергировать и так далее. Имеется абстрактный тест Августы Ангст, где от малютки (das kleine) требуется выразить ряд понятий (стон, удовольствие, темнота), не отрывая карандаша. Ну и, само собой, «Игра в куклы», где Патрику или Патриции вручаются две одинаковые резиновые куклы и симпатичный кусочек глины, который Пат должен(-на) прилепить к одной из них, прежде чем начать с ними играть, и что за прелесть этот кукольный дом, сколько в нем комнат, сколько затейливых миньятюрных вещей, включая ночной горшочек величиною с желудевую чашечку, аптечный шкафчик, кочергу, двуспальную кровать и даже пару крошечных резиновых перчаток на кухне, и можно быть гадким сколько захочешь и делать все что угодно с куклой-папой, если тебе кажется, что она бьет куклу-мату, когда они тушат свет в спальне. Но нехороший Виктор не желал играть с Лу и Тиной, игнорировал кукол, вычеркивал все слова подряд (что было против правил) и делал рисунки, начисто лишённые всякого нечеловеческого смысла.

Виктора нельзя было заставить увидеть хоть что-нибудь мало-мальски любопытное для врачей в очень, очень красивых кляксах Роршаха, в коих дети находят, или должны находить, всякую всячину: побег, поморье, полуостров, червей идиотизма, невротические стволы, эротические галоши, зонтики, гири для гимнастики. С другой стороны, ни один из небрежных набросков Виктора не являл собою так называемого «мандала» – термин, предположительно означающий (на санскрите) волшебное кольцо и применяемый д-ром Юнгом и прочими для обозначения всяких каракулей с более или менее четырехсторонней в сечении структурой, вроде разрезанного пополам манго, или креста, или колеса, на котором всякое эго разламывается на четыре части, как бабочка Морфо[23] или, вернее, как молекула углерода с ее четверной валентностью – основной химический компонент мозга, – механически увеличенная и запечатленная на бумаге.

В своем отчете Штерны написали, что «психическая ценность ментальных образов и словесных ассоциаций Виктора, к сожалению, совершенно затемнена его художественными наклонностями». И с тех пор маленькому пациенту Виндов, с трудом засыпавшему и евшему без аппетита, было позволено читать в постели за полночь и уклоняться от утренней овсянки.

4

Строя планы воспитания сына, Лиза разрывалась между двумя либидами: доставить ему все новейшие преимущества современной детской психотерапии – и в то же время подыскать внутри американской религиозной системы ближайшее подобие мелодичных и благодетельных красот православной Церкви, благостного сообщества, так мало требующего от совести в сравнении с теми утешениями, которые оно сулит.

Сначала маленький Виктор посещал прогрессивный киндергартен в Нью-Джерси, а потом по совету каких-то русских знакомых был определен в тамошнюю школу. Школой этой руководил англиканский священник, оказавшийся умным и талантливым педагогом, снисходительный к одаренным детям, невзирая на их причуды или шалости. Виктор был, безспорно, не совсем заурядным мальчиком, но в то же время очень спокойным. В двенадцать лет он поступил в гимназию Св. Варфоломея.

Снаружи она представляла собою массив красного, фальшиво-импозантного кирпича, возведенный в 1869-м году на окраине Крантона, в Массачусетсе. Главное здание образовывало три стороны большого прямоугольника, четвертой же служила застекленная галерея. Домик привратника с коньковой крышей был по одной стене покрыт глянцевитым американским плющом и несколько тяжеловесно увенчивался кельтским каменным крестом. По плющу от ветра пробегала дрожь как по крупу лошади. Цвету красного кирпича любят приписывать способность со временем приобретать благородный оттенок, но этот школьный кирпич выглядел просто грязным. Под крестом и непосредственно над кажущейся гулкой, но на самом деле безотзывной аркой ворот было высечено нечто вроде кинжала, с намерением изобразить мясничий нож, который так укоризненно держит (в венском молитвослове) Св. Апостол Варфоломей, с которого аживно содрали кожу и выставили на съедение мухам летом около 65-го года по Р. Х. в Альбанополе (ныне Дербент). Его гроб, брошенный разгневанным царем в Каспийское море, благополучно доплыл до острова липари у сицилийского берега – что маловероятно, так как Каспий с самого

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
плейстоцена был неизменно внутренним морем. Под этим геральдическим оружием – несколько напоминавшим морковку концом вверх – начищенным до блеска церковным шрифтом было начертано: Sursum[24]. Две кроткого нрава английские овчарки, очень друг к другу привязанные и принадлежавшие одному из наставников, обыкновенно дремали на траве перед воротами, в своей приватной Аркадии.

В первое свое посещение школы Лиза от всего приходила в восторг, начиная с площадок для игры в фэйвс и часовни и кончая гипсовыми слепками в коридорах и фотографиями соборов в классных комнатах. Для трех младших классов были отведены дортуары с окном в каждом алькове; в конце была комната воспитателя. Посетители не могли налюбоваться прекрасным гимнастическим залом. Сильное впечатление производили также дубовые скамьи и подбалочная готика сводов часовни в романском стиле, которую за полвека до того построил на свои средства Юлиус Шонберг, владелец шерстяной мануфактуры, брат известного египтолога Самюэля Шонберга, погибшего во время мессинского землетрясения. Всего было двадцать пять преподавателей и директор, о. Арчибальд Хоппер, в теплую погоду носивший элегантное серое облачение и исполнявший свои обязанности в блаженном неведении интриги, которая вот-вот должна была его низложить.

5

Несмотря на то что зрение у Виктора было развито сильнее других чувств, ничем не примечательный образ Святоварфоломеевской гимназии запечатлелся в его сознании скорее своими запахами и звуками. В дортуарах стоял затхлый, скучный дух старого, покрытого лаком дерева, из альковов по ночам доносились громкие звуки брюшных ветров и особенный скрип постельных пружин, нарочно усиленный изухарства, а в коридоре, в гулкой пустоте мигрени, раздавался звонок каждое утро без четверти семь. От кадила, свисавшего на цепях и на тенях цепей с ребристого потолка часовни, веяло идолопоклонством и ладаном, бархатный голос о. Хопера гладко сочетал грубые обороты с утонченными; новичкам полагалось выучивать наизусть гимн 166-й, «Светоч души моей»[25]; а в раздевальной с незапамятных времен несло потом от корзины на колесах, где хранились общие гимнастические суспензории – омерзительно серый клубок, из которого приходилось выпутывать одну такую штуку и надевать ее на себя перед началом спортивных классов – и до чего же резки и печальны были грозди возгласов, доносившихся с каждой из четырех игровых площадок!

При умственном коэффициенте что-то около ста восьмидесяти и среднем балле в девяносто[26], Виктор без труда числился первым в классе из тридцати шести человек и даже был одним из трех лучших учеников в школе. К большинству преподавателей он не испытывал особенного уважения, но зато преклонялся перед Лэйком, необычайно толстым человеком с мохнатыми бровями и волосатыми руками, с выражением сумрачного смущения в присутствии атлетических, розовощеких мальчиков (Виктор же был и не спортсмен, и не румянец). Лэйк восседал, подобно Будде, в замечательно опрятной студии, напоминавшей скорее приемную в картинной галерее, чем мастерскую. Ничто не оживляло ее бледно-серых стен, кроме двух одинаково обрамленных картин: копии фотографического шедевра Гертруды Кэзебир «Мать и дитя» (1897), с задумчивым ангелоподобным младенцем, глядящим вверх и прочь (на что?), и репродукции головы Христа, в тех же тонах, из Рембрандтова «Путешествия в Эммаус», с тем же, хотя и чуть менее небесным выражением глаз и рта.

Он родился в Огайо, учился в Париже и Риме, преподавал в Эквадоре и Японии. Он был признанный знаток живописи, и многие недоумевали, чего ради Лэйк последние десять зим пропадает в этой школе. Хотя он обладал суровым нравом гения, ему недоставало оригинальности, и он это понимал; его работы всегда казались прекрасными и остроумными подражаниями, хотя никто никогда не мог определенно сказать, чью именно манеру он имитирует. Его доскональное знание безчисленных технических приемов, его безразличие к «школам» и «течениям», ненависть к шарлатанам, убежденность в том, что нет никакой разницы между вчерашней мещански-благовоспитанной акварелью и, скажем, нынешним условным неопластицизмом или банальной безпредметностью и что одно только индивидуальное дарование имеет значение, – все эти взгляды делали его необычным учителем. В учебном этом заведении были не очень-то довольны ни методикой Лэйка, ни ее результатами, но держали его оттого, что полагалось иметь среди педагогов хотя бы одного знаменитого чудака. Среди множества увлекательных вещей Лэйк учил, что порядок солнечного спектра представляет собою не замкнутый круг, а спираль оттенков от кадмиево-красного и оранжевых, потом стронциево-желтого и бледно-райски-зеленого до кобальтово-синего и лилового, после чего вся череда не возвращается опять постепенно в красные тона, но открывает новую спираль, начинающуюся с

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
фиолетово-серого и идущую от одного пепельного оттенка к другому, уже за пределом человеческого восприятия. Он говорил, что не существует никакой школы «Аш-кан»[27], ни Школы «Каш-Каш», ни Школы «Кан-кан». Что произведение искусства, созданное из куска бечевки, почтовых марок, левой газеты и голубиного помета есть просто набор невыносимо скучных пошлостей. Что нет ничего более банального и мещанского, чем паранойя. Что Дали по сути дела близнец Нормана Роквелла, умыкнутый в младенчестве цыганами. Что Ван Гог художник второго разряда, а Пикассо – высшего, несмотря на его коммерческие поползновения; и что если Дега мог обезсмертить une calèche[28], то отчего бы Виктору Винду не взять себе предметом автомобиль?

Можно, например, сделать его проницаемым для окружающего ландшафта. Глянцевый черный седан – отличный сюжет, особенно ежели он запаркован на пересечении обсаженной деревьями улицы с одним из тех тяжелых осенних небосклонов, на которых распухшие серые облака и похожие на амёб пятна синевы выглядят вещественней молчаливых вязов и уклончивой мостовой. Теперь разложи корпус автомобиля на отдельные плоские и изогнутые части; потом собери их по правилам отражений. Для каждой части они будут другими: на крыше появятся опрокинутые деревья с размазанными ветвями, растающими как корни в водянистую фотографию неба, с проплывающим мимо в виде архитектурного анахронизма китообразным зданием; одну сторону капота покроет полоса густого небесного кобальта; тончайший узор черных веток отразится на внешней поверхности заднего окна; а по буферу протянется замечательно пустынный пейзаж – раздавшийся вширь горизонт, с далеким домом и одиноким деревом. Этот подражательно-собирающий процесс Лэйк называл необходимой «натурализацией» рукотворных предметов. Виктор отыскивал на улицах Крантона подходящий экземпляр и некоторое время бродил вокруг него. Неожиданно к нему присоединилось солнце, полускрытое, но ослепительное. Для того рода кражи, которую замыслил Виктор, нельзя было найти лучшего сообщника. В хромированной отделке, в стекле фары, обрамленной солнцем, он видел перспективу улицы и на ней себя самого, и это напоминало микроскопический вариант комнаты (с крошечными людьми, видимыми со спины) в том совершенно особенном и волшебном выпуклом зеркальце, которое за полтысячелетия до него любили вписывать в свои подробнейшие интерьеры – позади какого-нибудь насупленного купца или местной мадонны – Ван Эйк, Петрус Христуc, Мемлинг.

В последнем номере школьного журнала Виктор поместил стихотворение о живописцах, подписанное *nom de guerre* Moinet[29], а надписанное так: «Негодных красных должно остерегаться; ибо когда и со тщанием приготовлены, они все одно негодны в дело» (цитата из одной старинной книги о живописном мастерстве, смахивавшая однако на политический афоризм). Стихотворение открывалось строками:

О Леонардо! Ты к свинцовой  
настойке подмешал карминки,  
и Моны Лизы рот пунцовый  
теперь бледней, чем у бегинки.

Он мечтательно воображал, как станет умягчать свои краски по рецептам старых мастеров – медом, смоковым соком, маковым маслом, слизью розовых улиток. Он любил акварель и масло, но сторонился слишком тонкой пастели и слишком грубой темперы. Он изучал свое ремесло с тщанием и терпением ненасытного ребенка – как те ученики живописцев (а это уж Лэйк размышлялся), остриженные как пажи мальчики с блестящими глазами, годами растиравшие краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского скиаграфа, в царстве янтаря и райской глазури. В восемь лет он как-то сказал матери, что ему хочется написать воздух. В девять ему уже было знакомо чувственное упоение от постепенно сходящей на нет гаммы акварельных оттенков. Что ему было до того, что нежный кьяроскуро[30], дитя приглушенных красок и прозрачных полутонов, давно скончался за тюремной решеткой абстрактного искусства, в ночлежке омерзительного примитивизма? Он брал разные предметы – яблоко, карандаш, шахматную пешку, гребенку – и помещал их позади стакана с водой и сквозь него прилежно разглядывал каждый по очереди: красное яблоко превращалось в аккуратную красную полосу, ограниченную ровным горизонтом: как бы полстакана Красного моря, *Arabia felix*[31]. Короткий карандаш, если его держать наискось, извивался как стилизованная змея, но если его держать вертикально, то он чудовищно толстел, делался чуть ли не пирамидой. Черная пешка, если ее двигать туда-сюда, разделялась на чету черных муравьев. Гребенка, поставленная торчком, наполняла стакан прелестно полосатым, как зебра, коктейлем.

6

За день до приезда Виктора Пнин вошел в спортивный магазин в центре Вэйнделя и

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
спросил футбольный мяч. Хотя просьба была не по сезону, мяч ему подали.

– Нет-нет, – сказал Пнин. – Мне не нужно яйцо или, например, торпеда[32]. Мне нужен простой футбольный мяч. Круглый!

И он кистями и ладонями изобразил портативный мир. Это был тот же жест, которым он пользовался в классе, когда говорил о «гармонической цельности» Пушкина.

Приказчик поднял палец и молча принес европейский мяч.

– Да, этот я куплю, – сказал Пнин с полным достоинства удовлетворением.

Со своей упакованной в коричневую бумагу и заклеенной полосками клейкой ленты покупкой он зашел в книжную лавку и попросил «Мартина Идена».

– Иден, Иден, Иден, – забормотала высокая темноволосая продавщица, потирая лоб.  
– Пойдите, вы имеете в виду книгу о британском министре, не правда ли?

– Я имею в виду, – сказал Пнин, – знаменитое сочинение знаменитого американского писателя Джэка Лондона.

– Лондон, Лондон, Лондон, – сказала она, хватаясь за виски.

На помощь, с трубкою в руке, пришел ее муж, как водится, в твидовом пиджаке, писавший стихи на злобу дня. Порывшись, он извлек из пыльных недр своего не слишком процветающего заведения старое издание «Сына волка».

– Боюсь, – сказал он, – это все, что у нас имеется этого автора.

– Странно! – сказал Пнин. – Превратности славы! В России, помнится, все – маленькие дети, взрослые люди, врачи, адвокаты – все читали и перечитывали его. Это не лучшая его книга, но – окэй, окэй – я беру ее.

Вернувшись домой, то есть в дом, где он в этом году квартировал, профессор Пнин выложил мяч и книгу на письменный стол в комнате для гостей наверху. Склонив голову набок, он осмотрел свои подарки. Мяч выглядел неважно в своей безформенной упаковке: он развернул его. Теперь его красивая кожа была на виду. Комната была чисто убранная и уютная. Гимназисту должна понравиться эта картинка (профессорский цилиндр, сшибленный снежком). Поденщица только что постлала постель; старый Билль Шеппард, хозяин дома, поднялся с нижнего этажа и с важностью ввинтил новую стеклянную грушу в настольную лампу. Теплый сырой ветер поддувал в раскрытое окно, и снизу доносился шум разыгравшегося ручья. Вот-вот должен был пойти дождь. Пнин закрыл окно.

В своей комнате, на том же этаже, он нашел записку. Лаконичную телеграмму Виктора передали по телефону: в ней сообщалось, что он опаздывает ровно на сутки.

7

Виктора и еще пятерых мальчиков задержали в школе на один драгоценный день пасхальных каникул за курение сигар на чердаке. Сам Виктор, склонный к тошноте и страдавший множеством обонятельных фобий (все это старательно скрывалось от Виндов), в сущности и не курил, а только раз или два пыхнул. Но он несколько раз послушно ходил на запретный чердак с двумя лучшими своими товарищами, предприимчивыми проказниками Тони Брэйдом и Лансом Боком. Чтобы проникнуть туда, надо было пройти через комнату, где хранились чемоданы учащихся, а потом подняться по железной лесенке, выходившей на мостки под самой крышей. Тут восхитительный, до странного хрупкий каркас здания становился видимым и осязаемым, со всеми своими балками и решетинами, лабиринтом переборок, разрезанными тенями, непрочной дранкой, сквозь которую нога проваливалась и хрустела штукатурка, сыпавшаяся из невидимых потолков вниз. Лабиринт заканчивался маленькой площадкой, спрятанной в выеме под самой вершиной кровельного конька, среди пестро разбросанных там и сям старых комиксов и свежего сигарного пелла. Пепел обнаружили; мальчики сознались. Тони Брэйду, внуку одного именитого бывшего директора этой гимназии, было позволено уехать по семейным обстоятельствам: его хотел повидать перед отбытием в Европу нежно привязанный к нему родственник. Тони благоразумно попросил, чтобы его задержали вместе с остальными.

Как я уже говорил, директором во времена Виктора был о. Хоппер – безвредное ничтожество с темными волосами и свежим цветом лица, высоко ценимый бостонскими матронами. Когда Виктор с товарищами по преступлению обедал со всей Хопперовой семьей, со всех сторон делались разного рода кристально-прозрачные намеки; особенно старалась г-жа Хоппер, сладкогласая англичанка, тетка которой была замужем за каким-то графом: о. Хоппер мог бы сменить гнев на милость и не отправлять шестерых мальчиков рано в постель, а взять их в этот последний вечер в городской кинематограф. И после обеда, ласково подмигнув, она велела им идти за Хоппером, который быстро направился к сеним.

Старомодные попечители школы могли оправдывать те два или три случая порки, которой Хоппер подверг особо провинившихся в течение его краткого и ничем не примечательного пребывания в должности; но всех шестерых мальчиков передержнуло от гнусной ухмылочки, искривившей красные губы директора, когда он задержался по дороге в сени, чтобы подобрать аккуратно сложенный конвертом пакет – подрясник и стихарь; автомобиль семейного типа стоял у дверей, и «на закуску к наказанию», по выражению мальчиков, сей лицемерный пастырь угостил их специальной службой в Радберне, в пятнадцати верстах от Крантона, в холодной кирпичной кирке с немногочисленными прихожанами.

8

Теоретически проще всего добираться до Вэйнделя из Крантона на таксомоторе до фрэймингама, оттуда до Албани курьерским, а потом проехать небольшой остаток пути местным поездом в северо-западном направлении; в действительности же этот простейший способ был самым неудобным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала старая, закоренелая распря, то ли они сговорились действовать сообща в пользу других средств передвижения, но только как бы вы ни тасовали расписания, вам ни за что не удавалось избежать по меньшей мере трехчасового ожидания поезда в Албани.

Можно было, правда, уехать из Албани одиннадцатичасовым автобусом, прибывавшим в Вэйндель в три часа дня, но для этого надо было сесть на поезд, уходивший из фрэймингама в 6.31 утра, а Виктор знал, что не встанет вовремя; поэтому он выбрал более поздний и куда более медленный поезд, но на нем можно было поспеть в Албани на последний автобус в Вэйндель: он и доставил его туда в половине девятого вечера.

Всю дорогу шел дождь. Он шел не переставая и когда Виктор прибыл на вэйндельскую автобусную станцию. Из-за своей природной мечтательности и легкой рассеянности он всегда оказывался в хвосте любой очереди. Он давно привык к этой задаче, как привыкаешь к близорукости или хромоте. Немного сутулясь из-за своего роста, он терпеливо тянулся за пассажирами, которые гуськом пробирались по автобусу к выходу и сходили на блестящий асфальт: две грузные старые дамы в полупрозрачных ватерпруфах, похожие на картофелины в целлофане; мальчик лет семи или восьми, стриженный ежиком, с нежным затылком; угластый застенчивый пожилой калека, который отказался от всякой помощи и выбрался наружу по частям; три вэйндельские студентки в коротких штанах, с розовыми коленками; изнеможенная мать мальчика; еще несколько пассажиров; а потом уж только – Виктор, с котомкой в руке и двумя иллюстрированными журналами подмышкой.

Под аркой при входе в станционное здание стоял совершенно лысый господин со смугловатым лицом, в темных очках и с черным портфелем, приветливо-вопросительно склонившийся над тонкошеим мальчиком, который, однако, все качал головой и указывал на мать, ожидавшую появления своих чемоданов из чрева автобуса. Сдержанно и весело Виктор прервал этот quid, pro quo[33]. Смуглоголовый господин снял очки и, разогнувшись, стал поднимать глаза все выше и выше и выше на высокого-высокого-высокого Виктора, на его синие глаза и рыжевато-каштановые волосы. Хорошо развитые мышцы скул Пнина подтянулись и округлили его загорелые щеки; в улыбке участвовали лоб, нос и даже его большие уши. В конечном счете это была весьма и весьма удачная встреча.

Пнин предложил оставить саквояж на вокзале и пройти один квартал пешком – если только Виктор не боится дождя (лило как из ведра, и асфальт блестел в темноте как горное озерцо под большими шумными деревьями). Пнин полагал, что столь поздняя трапеза в трактире должна доставить мальчику удовольствие.

– Доехали хорошо? Без неприятных происшествий?

– Да, сэр.

– Вы очень голодны?

– Нет, сэр. Не особенно.

– Меня зовут Тимофей, – сказал Пнин, когда они удобно устроились у окна в старом убогом трактире. – Второй слог произносится, как «мафф» [промах], ударенье на последнем слоге, «ей», как в «прей» [добыча], но чуть более растянуто. «Тимофей Павлович Пнин» – что значит «Тимоти, сын Поля». В отчестве ударенье на первом слоге, а остальные проглатываются – Тимофей Палч. Я долго дебатировал сам с собой – протрем-ка эти ножи и вилки – и пришел к заключению, что вам следует называть меня просто мистер Тим или даже еще короче – Тим, как зовут меня иные из моих чрезвычайно симпатичных коллег. Это... – что вы будете есть? Телячью отбивную? Окэй, я тоже возьму телячью отбивную – ...это, конечно, уступка Америке, моей новой родине, чудесной Америке, которая иногда изумляет меня, но всегда вызывает уважение. Сначала меня очень смущала —

Сначала Пнина очень смущала та легкость, с какой в Америке переходят на обращение по имени: после первого же вечера в гостях, в начале которого на каплю виски полагается целый айсберг, а под конец в море виски добавляется немного воды из-под крана, вы должны называть чужого вам человека с семью висками «Джимом», между тем как вы становитесь для него навеки «Тимом». Ежели вы забудете об этом и на другое утро назовете его профессором Эвереттом, то есть его настоящим, на ваш взгляд, именем, то это будет для него ужасным оскорблением. Перебирая своих русских друзей в Европе и Соединенных Штатах, Тимофей Пнин мог легко насчитать по крайней мере шесть десятков милых ему людей, которых он знал близко с 1920-х, скажем, годов, и которых он никогда не называл иначе как Вадим Вадимыч, Иван Христофорович или Самуил Израилевич, и которые при встрече величали его по имени и отчеству с тою же горячей симпатией, при крепком, сердечном рукопожатии: «А, Тимофей Палч! Ну как? А вы, батенька, здорово постарели!»

Пнин говорил и говорил. Его речь не удивляла Виктора, часто слыхавшего, как русские говорят по-английски, и он не обращал внимания на то, что Пнин произносит «family» так, что первый слог звучал как «женщина» по-французски.

– Я говорю по-французски гораздо свободней, чем по-английски, – сказал Пнин. – А вы – Vous comprenez le français? Bien? Assez bien? Un peu?

– Très un peu[34], – сказал Виктор.

– Прискорбно, но ничего не поделаешь. Теперь я буду говорить с вами о спорте. Первое в русской литературе описание бокса находим в поэме Михаила Лермонтова (родился в 1814-м, убит в 1841-м – легко запомнить). С другой стороны, первое описание тенниса находится в «Анне Карениной», романе Толстого, и относится к 1875-му году. Как-то в молодости, в русском поместье на широте Лабрадора, мне дали ракету, чтобы играть с семьей ориенталиста Готовцева, может быть, вы слышали о нем. Помню, был чудный летний день, и мы играли, играли, играли, пока не растеряли все двенадцать мячей. Вы тоже будете вспоминать прошлое с интересом, когда будете старей.

– Другая игра, – продолжал Пнин, щедро накладывая сахар в свой кофе, – была, конечно, крокет. Я был чемпион крокета. Однако любимым национальным развлечением были так называемые gorodki, это значит «маленькие города». Помню площадку в саду и удивительное ощущение молодости: я был силен, носил вышитую русскую рубашку, теперь никто не играет в такие полезные для здоровья игры.

Он доел котлету и вернулся к предмету разговора:

– Чертили, – говорил Пнин, – большой квадрат на земле, ставили в нем, как колонны, такие, знаете ли, цилиндрические деревяшки, и потом издали бросали в них толстую палку, очень сильно, как бумеранг, широко-о размахнувшись – извините... хорошо, что это сахар, а не соль.

– Я все еще слышу, – говорил Пнин, поднимая с полу сахарную кропильку и с изумлением покачивая головой: до чего живуча память! – я все еще слышу этот

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
звук, этот трах! когда попадешь в деревянные бруски и они подпрыгивают вверх. Вы не будете доедать мяса? Вам не понравилось?

– Страшно вкусно, – сказал Виктор, – просто я не очень голоден.

– Ах, вам надо есть больше, гораздо больше, если вы хотите стать футболистом.

– Боюсь, что я не очень люблю футбол. Собственно, терпеть его не могу. Да и в других играх я не силен.

– Вы не любите футбол? – сказал Пнин, и на его большое выразительное лицо напозла тень смятения.

Он выпятил губы. Раскрыл их – но ничего не сказал. Молча доел он свое ванильное сливочное мороженое, в котором не было ни ванили, ни сливок.

– Теперь мы возьмем ваш багаж и таксомотор, – сказал Пнин.

Как только они подъехали к Шеппардову дому, Пнин провел Виктора в гостиную и наскоро представил его своему хозяину, старому Биллю Шеппарду, служившему прежде в университете старшим сторожем (он был совершенно глух и носил в ухе белую пуговку), и его брату, Бобу Шеппарду, недавно перебравшемуся из Буффало к Биллю, после того, как умерла жена последнего. Ненадолго оставив с ними Виктора, Пнин торопливо протопал наверх. Дом представлял собою легко проницаемую для звуков постройку, так что в нижних комнатах вещи отозвались разнообразными вибрациями на энергические шаги на верхней площадке и на внезапный скрежет поднятой оконной рамы в гостевой комнате.

– Ну-с, а на этой картине, – говорил тугоухий мистер Шеппард, указывая поучающим пальцем на большую тусклую акварель на стене, – изображена заимка, где мы с братом, бывало, проводили лето полвека тому назад. Ее написала школьная подруга моей матери, Грация Вэльс; ее сын, Чарли Вэльс, хозяин гостиницы в Вэйндельвиле – д-р Нин, наверное, знает его – очень, оч-чень хороший человек. Жена-покойница тоже была художницей. Я после покажу вам ее картины. Ну, а это вот дерево позади гумна – его едва видать –

С лестницы донесся ужасный стук и грохот: Пнин, спускаясь, оступился.

– Весной девятьсот пятого года, – сказал мистер Шеппард, грозя картине пальцем, – под этим самым тополем –

Он заметил, что его брат и Виктор бросились вон из комнаты к подножию лестницы. Бедняга Пнин с последних ступенек съехал на спине. С минуту он так полежал, поводя туда-сюда глазами. Ему помогли встать на ноги. Кости были целы.

Пнин улыбнулся и сказал:

– Это как в прекрасной повести Толстого – вам надо как-нибудь прочитать ее, Виктор, – об Иване Ильиче Головине, который упал, в силу чего получил почку рака. Теперь Виктор пойдет со мною наверх.

Виктор со своей сумкой пошел за ним. На площадке висела репродукция «La Vergeuse» Ван Гога, и Виктор мимоходом насмешливо кивнул ей. Комната для гостей была наполнена шумом дождя, падавшего на душистые ветки в обрамленной черноте раскрытого окна. На письменном столе лежала завернутая в бумагу книга и десятидолларовая ассигнация. Виктор улыбнулся и поклонился своему несколько суровому, но доброму хозяину.

– Разверните, – сказал Пнин.

Виктор послушался с учтивой поспешностью. Потом он присел на край постели и с нарочитым нетерпением раскрыл книгу, причем его русые волосы блестящими прядями ниспадали на правый висок, полосатый галстук свесился спереди, болтаясь, из-под серого пиджака, а его крупные, в серых фланелевых штанах, колени разъехались. Ему хотелось похвалить ее – во-первых, потому что это был подарок, а во-вторых, потому что он думал, что это перевод с родного языка Пнина. Он вспомнил, что в Психотерапевтическом институте какой-то д-р Яков Лондон из России. На беду Виктор попал как раз на то место, где упоминается Заринска, дочь вождя юконских

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru индейцев, и простосердечно принял ее за русскую девушку. «Она не сводила огромных черных глаз со своих соплеменников, глядя вместе вызывающе и со страхом. Напряжение сделалось столь велико, что она забыла дышать...»

– Думаю, мне это должно понравиться, – сказал вежливый Виктор. – Прошлым летом я читал «Преступление и ---».

Молодой зевок растянул его героически улыбающийся рот. С сочувствием, с одобрением, с ноющим сердцем Пнин видел Лизу, зевающую после одного из тех долгих счастливых вечеров у Арбениных или у Полянских в Париже – пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет тому назад.

– На сегодня довольно чтения, – сказал Пнин, – Я знаю, это очень увлекательная книга, но вы будете читать и читать ее завтра. Желаю вам спокойной ночи. Ванная через площадку.

Он пожал Виктору руку и удалился в свою комнату.

9

А дождь все шел да шел. Все огни в доме Шеппарда погасли. Ручей в овраге за садом – в обычное время трепетная струйка – этой ночью превратился в шумный поток, который кубарем низвергался, с рабской готовностью покоряясь силе притяжения, и уносил по буковым и еловым проходам прошлогодние листья, безлистые ветки и новешенький, никому не нужный футбольный мяч, незадолго перед тем скатившийся в воду с отлогой лужайки, после того как Пнин отделался от него путем дефенестрации. Он наконец заснул, несмотря на ломоту в спине, и в продолжение одного из тех снов, которые все еще преследуют русских беглецов даже спустя треть столетия после побега от большевиков, Пнин увидел себя в немыслимом плаще, убегающим по огромным чернильным лужам под луной, перечеркнутой тучей, из какого-то фантастического дворца и потом вышагивающим назад и вперед по пустынной отмели со своим покойным другом Ильей Исидоровичем Полянским, ожидая прибытия из-за безнадежного моря некоего таинственного избавителя в тархтящей лодке. Братьям Шеппардам не спалось на их рядом стоявших кроватях, на их «безподобно-удобных» матрацах[35]; младший в темноте прислушивался к дождю и размышлял о том, не лучше ли им продать этот дом с его шумной крышей и мокрым садом; старший же лежал и думал о тишине, о зеленом сыром погосте, о старой заимке, о тополе, в который давным-давно ударила молния, убив Джона Хэда, какого-то размытого теперь, отдаленного родственника. Виктор в кои-то веки заснул тотчас после того, как сунул голову под подушку – недавно заведенный способ, о котором д-р Эрих Винд (сидевший в это время на скамье у фонтана в городе Кито, в Эквадоре) никогда уж не узнает. Около половины второго Шеппарды захрапели, причем тот, что был глух, в конце каждого выдоха еще слегка рокотал и вообще звучал куда громче своего скромно и уныло посапывавшего брата. На песчаном пляже, по которому Пнин все еще шагал (его встревоженный друг ушел домой за картой), перед ним появилась вереница приближавшихся к нему следов, и он, ахнув, проснулся. Болела спина. Был уже пятый час. Дождь перестал.

Пнин вздохнул по-русски – óх-ох-ох – и попытался найти более удобное положение. Старик Билль Шеппард прошаркал в нижнюю уборную, сорвал шумный аплодисмент и полпелся обратно.

Вскоре все опять уснули. Жаль, что никто не видал пустынной улицы, где рассветный ветерок морщил большую, светящуюся лужу, превращая отражавшиеся в ней телефонные провода в неразборчивые строки черных зигзагов.

Глава пятая

1

С верхней площадки старой, редко посещаемой дозорной башни – «каланчи», как говорилось встарь, – стоявшей на восьмисотфутовом лесистом холме, именуемом Эттриковой горой, в одном из красивейших штатов Новой Англии, какой-нибудь заядлый летний турист (Миранда или Мэри, Том или Джим, чьи полустершиеся имена были написаны карандашом на балюстраде) мог бы увидеть широкое море зелени, состоявшей преимущественно из кленов, буков, бальзамического тополя да сосен. Верстах в семи на запад тонкий белый шпиг церквы обозначал место, где ютился городок Онкведо, в былые времена славившийся своими источниками. В пяти верстах на север, на речном берегу, на прогалине у подножья муравчатого пригорка, можно было разглядеть остервершие крыши затейливого строения (известного как Куково, Кукова усадьба, Куков замок, или Сосновое, по первоначальному его названию).

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Большое шоссе проходило через Онкведо и тянулось дальше на восток по южной стороне Эттрика. Множество грунтовых дорог и тропок пересекало во всех направлениях лесистую треугольную равнину, ограниченную несколько извилистой гипотенузой мощеного проселка, вившегося в северо-восточном направлении от Онкведо к Сосновому, долгим катетом упомянутого шоссе и коротким реки, через которую переброшен был стальной мост возле Эттрика и деревянный у Кукова.

Пасмурным теплым летним днем 1954-го года Мэри или Альмира, а пожалуй, и Вольфганг фон Гёте, чье имя было вырезано на парапете каким-то старомодным остряком, могли бы заметить автомобиль, свернувший с шоссе перед самым мостом и теперь сновавший и тыкавшийся туда-сюда в лабиринте сомнительных дорог. Он подвигался вперед неуверенно и с опаской, и всякий раз, когда решал переменить направление, сбавлял скорость и поднимал позади себя клуб пыли, как скребущий землю пес. Пожалуй, менее снисходительный человек, чем наш воображаемый наблюдатель, мог бы подумать, что за рулем этого бледно-голубого яйцевидного двухдверного седана, неопределенного возраста и довольно обшарпанной наружности, сидит какой-то болван. На самом же деле водителем его был профессор Вэйндельского университета Тимофей Пнин.

Пнин начал брать уроки в вэйндельской школе автомобильной езды в начале года, но «настоящее понимание», по его выражению, пришло к нему только спустя месяца два, когда он слег из-за боли в спине, и занимался исключительно, и с огромным удовольствием, изучением сорокастраничного «Учебника автомобилизма», изданного губернатором штата в сотрудничестве с другим экспертом, и статьи «Автомобиль» в «Американской энциклопедии» с изображениями коробок скоростей, карбюраторов, тормазов и участника Глидденского пробега (около 1905-го года), завязшего в трясине на проселочной, посреди удручающего пейзажа. Тогда-то – и только тогда – он наконец преодолел двойственность своих первоначальных догадок, лежа на больничной койке, шевеля пальцами ног и передвигая воображаемый рычаг скорости. В продолжение же настоящих уроков с насупистым инструктором, который теснил его, давал ненужные указания, сыпал техническими терминами, пытался вырвать у него руль на поворотах и постоянно раздражал спокойного, понятливого ученика грубой критикой, Пнин был совершенно не способен слить воедино ощущение той автомашины, которой он правил в уме, с той, которую он вел по дороге. Теперь наконец они соединились в одно целое. Да, первый экзамен он провалил, но это главным образом оттого, что затеял с экзаменатором несвоевременную дискуссию, пытаясь доказать, что для разумного человека не может быть ничего унижительнее необходимости поощрять в себе низменный условный рефлекс, заставляющий автоматически останавливаться перед красным светофором, когда кругом нет ни души – ни прохожей, ни проезжей. В другой раз он был осмотрительней и выдержал. Одна неотразимая студентка старшего курса, числившаяся в его классе русского языка, Мэрилин Гон, продала ему за сто долларов свой жалконький старый автомобиль: она выходила замуж за обладателя куда более роскошной машины. Путешествие из Вэйнделя в Онкведо, с остановкой в ночлеге для туристов, было медленным и трудным, но обошлось без приключений. Перед самым Онкведо он заехал на бензинную станцию и вышел подышать деревенским воздухом. Над клеверным полем нависало непроницаемое белесое небо, а с кучи дров возле лачуги слышался крик петуха, срывающийся и ухарский – не петух, а прямо голосистый хлыщ. Какая-то случайная интонация этой хрипловатой птицы в сочетании с теплым ветром, льнувшим к Пнину и добивавшимся его внимания, признания, чего угодно, – кратко напомнили ему тусклый, забытый день, когда он, студент-первокурсник Петроградского университета, приехал на маленькую станцию балтийского летнего курорта, и звуки, и запахи, и заунывность –

– А душновато, – сказал служитель с волосатыми руками, принимаясь вытирать переднее стекло.

Пнин достал из бумажника письмо, развернул приложенный к нему крошечный мимеографический план местности и спросил, далеко ли до церкви, у которой ему полагалось свернуть налево, чтобы добраться до Куковой усадьбы. Просто поразительно, до чего этот человек был похож на коллегу Пнина по Вэйндельскому университету, д-ра Гагена – случайное сходство, бессмысленное, как дурной каламбур.

– Да туда лучше ехать другим путем, – сказал этот фальшивый Гаген. – Грузовики разбили эту дорогу, да и потом она очень петлит. Вы поезжайте прямо. Проедете город. Через пять миль после Онкведо, сразу как повернете на Эттрик, по левой руке, как раз не доезжая моста, возьмите первый поворот налево. Там хорошая

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
утрамбованная дорога.

Он проворно обошел машину и начал обрабатывать своей тряпкой другую половину стекла.

– Сворачивайте на север и держите все время на север на всех перекрестках – в этих лесах попадаются просеки, а вы все держитесь севера и доберетесь до Кука в аккурат за двенадцать минут. Тут не собьешься.

Пнин уже почти час плутал по лесным дорогам и пришел к заключению, что выражение «держаться севера» и даже самое слово «север» ровно ничего для него не значат. К тому же ему было непонятно, что заставило его, человека рассудительного, послушаться совета первого встречного, сующего нос не в свое дело, вместо того чтобы неукоснительно следовать педантически-точным указаниям, которые послал ему его друг, Александр Петрович Кукольников (в этих местах известный как Аль Кук), приглашая его провести лето в своей большой и гостеприимной усадьбе. Наш незадачливый автомобилист теперь так основательно заблудился, что уже не мог вернуться на шоссе, а так как он не имел довольно опыта в маневрировании по узким, изрытым колеями дорогам, по обе стороны которых зияли канавы и даже овраги, то его неуверенные повороты наугад складывались в тот причудливый узор, за которым наблюдатель на дозорной башне мог бы следить сочувственным оком; но на этом заброшенном и равнодушном возвышении не было ни души, если не считать муравья, у которого были свои заботы: кое-как добравшись до верхней площадки и балюстрады (своей автострады), с бессмысленным упорством потратив на это часы, он теперь был точно так же встревожен и озадачен, как и тот несуразный игрушечный автомобиль, двигавшийся вниз. Ветер унялся. Под бледным небом море древесных верхушек казалось необитаемым. Но вдруг треснул ружейный выстрел и в небо подскочила ветка. Густые верхние сучья в этой части в остальном неподвижного леса пришли в движение в удаляющейся последовательности встрясок или скачков, передававшихся от дерева к дереву в колебательном ритме, после чего все снова стихло. Прошла еще минута, и вдруг все сошлось в одно время: муравей нашел отвесное бревно, которое вело на крышу башни, и пустился по нему с новым одушевлением; выглянуло солнце; а Пнин, совсем уж было отчаявшийся, оказался на мощеной дороге с поржавевшей, но все еще поблескивавшей указательной доской, направлявшей путников в Сосновое.

2

Аль Кук был сын Петра Кукольникова, зажиточного московского купца из староверов, выбившегося из низов, мецената и филантропа, того известного Кукольникова, который при последнем государе дважды сидел в довольно удобной крепости за финансовую помощь эсерам (по большей части террористам), а при Ленине был казнен как «империалистический агент» после почти целой недели средневековых пыток в советском застенке. Его семья к 1925-му году добралась до Америки через Харбин, и молодой Кук благодаря своей тихой настойчивости, практической сноровке и некоторому техническому образованию добился высокого и прочного положения в большом химическом предприятии. Добродушный, чрезвычайно сдержанный, коренастый человек, с большим неподвижным лицом, перехваченным посередине аккуратненьким пенснэ, он кем казался, тем и был – администратором, масоном, гольфистом, человеком преуспевающим и осторожным. Говорил он на замечательно правильном, нейтральном английском языке, с легчайшим налетом славянского акцента, и был очаровательно-радушный хозяин, молчаливой разновидности, с огоньком в глазах и со стаканом скотча с сельтерской в каждой руке; и только когда его полуночным гостем бывал какой-нибудь его старинный, задушевный русский друг, Александр Петрович вдруг начинал говорить о Боге, о Лермонтове, о свободе и обнаруживал тут наследственную склонность к безоглядному идеализму, который бы очень смутил подслушивающего марксиста.

Он был женат на Сюзанне Маршалл, привлекательной, говорливой блондинке, дочери изобретателя Чарльза Дж. Маршалла, и так как Александра и Сюзанну нельзя было представить себе иначе как во главе здоровой семьи, то я, как и другие друзья дома, был поражен, узнав, что вследствие перенесенной операции Сюзанна останется на всю жизнь бездетной. Они были еще молоды, любили друг друга с какой-то старосветской простотой и чистотой, от которой становилось отрадно на душе, и вместо того, чтобы населить свое имение детьми и внуками, они летом каждого четного года собирали у себя престарелых русских (как бы отцов и дядьев Кука), в нечетные же у них гостили «американцы» – деловые знакомые Александра или родственники и друзья Сюзанны.

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Пнин ехал в Сосновое в первый раз, я же бывал там и раньше. Усадьба кишела русскими эмигрантами из либеральной интеллигенции, покинувшими Россию около 1920-го года. Их можно было найти на каждом пятачке крапчатой тени, они сидели на лавках и спорили о писателях-эмигрантах – Бунине, Алданове, Сирине; лежали в гамаках, накрывши лицо воскресным номером русской газеты (старый обычай защищаться от мух); попивали чай с вареньем на веранде; гуляли в лесу и гадали, съедобны ли местные поганки.

Самуил Львович Шполянский, кряжистый, величественно-невозмутимый старик, и маленький, легко возбуждающийся заика, граф Федор Никитич Порошин, бывшие оба около 1920-го года членами одного из тех героических местных правительств, которые формировались в российской провинции демократическими партиями для сопротивления диктатуре большевиков, прогуливались, бывало, по сосновой аллее, обсуждая тактику, которую следует избрать на предстоящем совместном заседании Комитета свободной России (учрежденного ими в Нью-Йорке), с другой, более молодой антикоммунистической организацией. Из полузаросшей белой акацией беседки доносились обрывки жаркого спора между профессором Болотовым, преподававшим историю философии, и профессором Шато, преподававшим философию истории: «Действительность есть протяженность во времени», – гудел один голос (Болотова). «Совсем нет!» – кричал другой. «Мыльный пузырь точно так же действителен, как ископаемый зуб!»

Пнин и Шато, оба родившиеся в конце девяностых годов девятнадцатого столетия, были по сравнению с прочими юнши. Большинству остальных мужчин было за шестьдесят и больше. С другой стороны, некоторым из дам, например графине Порошиной или Болотовой, было всего лишь под пятьдесят, и благодаря здоровой атмосфере Нового Света они не только хорошо сохранились, но даже похорошели. Некоторые родители привезли с собой своих отпрысков – здоровых, высоких, равнодушных, трудных американских детей студенческого возраста, без всякого чувства природы, не знающих по-русски и совершенно безразличных к тонкостям происхождения и прошлого своих родителей. Казалось, они живут в Сосновом в совсем иной физической и духовной плоскости, чем их родители: время от времени они переходили из своего мира в наш в мерцании каких-то промежуточных измерений; отрывисто отвечали на добродушную русскую шутку или заботливый совет и потом снова испарялись; держались всегда безучастно (вызывая у родителей чувство, что они произвели на свет каких-то эльфов) и охотнее ели любой товар из онкведской лавки, любую снедь в жестянках, чем превосходные русские кушанья, подававшиеся у Кукольниковых за шумными, долгими обедами на закрытой сетками от комаров террасе. Порошин с горечью говорил о своих детях (Игоре и Ольге, студентах второго курса): «Мои близнецы несносны. Когда я вижу их дома, за чаем или обедом, и пытаюсь рассказать им что-нибудь особенно интересное и захватывающее – например о местном выборном самоуправлении на крайнем севере России в семнадцатом веке или, скажем, что-нибудь из истории первых русских медицинских школ – кстати, по этому предмету имеется превосходная монография Чистовича тысяча восемьсот восемьдесят третьего года – они просто уходят и запускают в своих комнатах радио». Оба они были в Сосновом в то лето, когда Пнин был туда приглашен. Но они были точно невидимки: им было бы чудовищно скучно в этом захолустье, если бы Олин поклонник, студент, фамилия которого никто как будто не знал, не приехал в конце недели из Бостона в шикарном автомобиле и если бы Игорь не нашел себе подходящей подружки в Нине, дочке Болотовых, смазливой неряхе с египетскими глазами и загорелыми конечностями, которая училась в балетной школе в Нью-Йорке.

За домом смотрела Прасковья, крупная женщина из крестьян, шестидесяти лет, но расторопнее иной сорокалетней. Весело было наблюдать за ней, когда, подбоченясь, она стояла на заднем крыльце и оглядывала кур в мешковатых домодельных шортах и барской кофте, отделанной стразами. Она нянчила Александра и его брата в Харбине, когда они были детьми, а теперь ей помогал управляться с хозяйством муж, угрюмый и флегматичный старый казак, главными страстями которого были любительское увлечение переплетным делом, которому он выучился сам и предавался с почти патологическим упорством, переплетая любой подвернувшийся ему старый каталог или журнальчик, приготовление наливок и истребление мелких лесных животных.

Из приглашенных в тот год Пнин хорошо знал профессора Шато, друга его молодости, с которым он вместе учился в Пражском университете в начале двадцатых годов, и еще он был близко знаком с Болотовыми, которых видел последний раз в 1949-м году, когда он произнес приветственную речь на официальном обеде в

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Барбизон-Плаза, устроенном по случаю их приезда из Франции Обществом русских ученых-эмигрантов. Мне лично никогда особенно не нравились ни сам Болотов, ни его философские сочинения, престранным образом совмещающие малопонятное с пошлым; если он и соорудил гору, то гору плоскостей; мне, впрочем, всегда нравилась Варвара, жизнерадостная, ладная жена потрепанного философа. До первого своего посещения Соснового в 1951-м году она никогда не видала новоанглийской деревни. Тамошние березы и калина внушили ей обманчивое впечатление, будто Онкведское озеро лежит не на широте, допустим, Охридского озера на Балканах, как на самом деле, а на широте Онежского, где она проводила летние месяцы до пятнадцати лет, до того, как бежала от большевиков в Западную Европу с теткой Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей. Поэтому колибри, на лету пытающие венчики цветов, или катальпа в полном цвету казались Варваре каким-то сверхъестественным или экзотическим видением. Громадные дикобразы, приходившие погрызть вкусные, пахучие старые бревна дома, или изящные, жутковатые маленькие скунсы, пившие на заднем дворе молоко, приготовленное для кошки, были для нее баснословнее средневековых изображений диковинных животных. Она дивилась и восхищалась при виде множества растений и тварей, которых она не умела назвать, принимая желтого американского чижа за случайно залетевшую канарейку, и однажды, по случаю дня рождения Сюзанны, принесла, с гордостью и задыхаясь от восторга, целую охапку красивого ядовитого сумаха для украшения обеденного стола, крепко прижимая его к своей розовой веснучатой груди[36].

3

Болотовы и Шполянская, худосочная маленькая женщина в штанах, первыми увидели Пнина, осторожно сворачивавшего в песчаную аллею, окаймленную дикой лупиной; сидя совершенно прямо, напряженно ухватившись за руль, словно фермер, более привычный к трактору, чем к автомобилю, он со скоростью в десять миль в час, на первой передаче въезжал в старую, непричесанную, на удивление настоящую сосновую рощу, отделявшую проезжую дорогу от Замка Кука.

Варвара с живостью поднялась со скамьи в беседке, где они с Розой Шполянской только что застали Болотова за чтением потрепанной книжки и курением запрещенной папиросы. Она радостно захлопала в ладоши при виде Пнина, меж тем как ее муж обнаружил максимум приветливости, на которую был способен, медленно помахав книгой с всунутым в нее вместо закладки большим пальцем. Пнин заглушил мотор и теперь сидел, лучезарно улыбаясь своим друзьям. Ворот его зеленой спортивной рубашки был расстегнут; непромокаемая куртка с приспущенной застежкой-змейкой казалась тесной для его внушительного торса; его побронзовелая лысая голова с наморщенным лбом и рельефной червеобразной веной на виске низко наклонилась, пока он боролся с дверной ручкой; наконец он вынырнул из машины.

– Автомобиль, костюм – ну прямо американец, прямо Айзенхауэр! – сказала Варвара и представила Пнина Розе Абрамовне Шполянской.

– У нас с вами были общие друзья сорок лет тому назад, – заметила она, с любопытством разглядывая Пнина.

– Право, не будем упоминать таких астрономических цифр, – сказал Болотов, подходя и заменяя травинкою палец, служивший ему закладкой. – А знаете, – продолжал он, пожимая Пнину руку, – я в седьмой раз перечитываю «Анну Каренину» и получаю такое же наслаждение, как не то что сорок, а целых шестьдесят лет тому назад, когда я был семилетним мальчиком. И каждый раз открываешь что-нибудь новое – например, теперь я замечаю, что Лёв Николаич не знает, в какой день начинается его роман. Как будто в пятницу, потому что в этот день к Облонским приходит часовщик заводить в доме часы, но может быть и в четверг, как следует из разговора Лёвина с матерью Кити на катке.

– Да не все ли равно! – воскликнула Варвара. – Ну кому, скажите на милость, нужно знать точный день?

– Я могу вам назвать этот день совершенно точно, – сказал Пнин, мигая от переменчивого солнца и вдыхая столь памятный острый дух северных сосен. – Действие романа открывается в начале тысяча восемьсот семьдесят второго года, именно в пятницу, двадцать третьего февраля по новому стилю. В своей утренней газете Облонский читает о том, что Бейст, по слухам, проследовал в Висбаден. Это, конечно, граф Фердинанд фон Бейст, которого как раз назначили австрийским посланником при английском дворе. После представления верительных

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
грамот Бейст уехал на континент на несколько затянувшиеся рождественские каникулы – провел там два месяца со своей семьей, и теперь возвращался в Лондон, где, как он пишет в своих воспоминаниях в двух томах, шли приготовления к благодарственному молебствию двадцать седьмого февраля в соборе Св. Павла по случаю выздоровления принца валлийского от тифа. Однако и жарко же у вас! Я думаю, теперь мне надо явиться пред пресветлые очи Александра Петровича, а потом пойти окупнуться в речке, которую он так живо описал в своем письме.

– Александра Петровича не будет до понедельника, он уехал не то по делам, не то поразвлечься, – сказала Варвара Болотова, – но, я думаю, вы найдете Сусанну Карловну – она берет солнечные ванны на своей любимой лужайке за домом. Только смотрите окликните ее издалека.

4

Замок Кука – трехэтажный усадебный дом из кирпича и бревен – был построен около 1860-го года и частично перестроен полвека спустя, когда отец Сюзанны купил его у семьи Дадли-Грин, чтобы превратить в первоклассную гостиницу для наиболее состоятельных посетителей целебных источников Онкведо. Это было замысловатое и неказистое здание смешанных стилей: готика щетинилась сквозь зачатки французского и флорентийского. Первоначальный проект, быть может, принадлежал той разновидности, которую Самюэль Слоун, тогдашний архитектор, называл «Неправильная Северная Усадьба», «отвечающая высшим запросам светской жизни» и именуемая «северной» из-за «устремленных ввысь крыши и башенок». Пикантность этих бельведеров и веселый, даже несколько безшабашный вид строения – которое словно было составлено из нескольких небольших северных усадебок, приподнятых на воздух и кое-как сплоченных в одно целое, так что отовсюду торчали части несоединенных крыш, недоовожденных коньков, карнизов, рустованных углов и прочих выступов, – очень недолго, увы, привлекали туристов. К 1920-му году онкведские воды как-то загадочно утратили свои магические свойства, и после смерти отца Сюзанна тщетно пыталась продать Сосновое, поскольку у них был другой, более удобный дом в одном из лучших кварталов большого промышленного города, где служил ее муж. Однако теперь, когда они привыкли пользоваться замком для приема своих многочисленных друзей, Сюзанна рада была, что милое кроткое чудище не нашло тогда покупателя.

Внутри все было столь же разношерстно, как и снаружи. Сразу за большими сенями, где громадных размеров камин напоминал о гостиничных временах, шли четыре просторные комнаты. Перила лестницы и по крайней мере одна из балясин относились к 1720-му году, так как были перенесены сюда при постройке особняка из гораздо более старого здания, даже местонахождения которого теперь никто в точности не знал. Весьма древним был также буфет в столовой, с чудесными изображениями дичи и рыб, инкрустированными на его филенках. В полудюжине комнат на каждом из верхних этажей и в обеих пристройках позади можно было обнаружить среди разрозненных предметов обстановки какое-нибудь очаровательное бюро атласного дерева или романтический палисандровый диван, но вместе с тем и всевозможные громоздкие и убогие вещи, сломанные стулья, пыльные столы с мраморной крышкой, угрюмые этажерки с потемневшими зеркальцами в глубине, печальными, как глаза старых мартышек. Симпатичная спальня, отведенная Пнину, была на верхнем этаже и выходила на юго-восток: там были полувытертые золотистые обои на стенах, походная койка, незатейливый умывальник и всякого рода полки, бра и лепные завитушки. Пнин подергал и поднял оконную раму, улыбнулся улыбающемуся лесу, вспомнил опять далекий первый день в деревне и вскоре сошел вниз в своем новом темно-синем купальном халате и в простых резиновых кенгах на босу ногу – разумная предосторожность, ежели собираешься идти по сырой и может быть кишасей змеями траве. На садовой террасе он встретил Шато.

Константин Иванович Шато, тонкий и обаятельный ученый с чисто русской родословной, несмотря на фамилию (происходящую, как мне говорили, от фамилии одного обрусевшего француза, который усыновил осиротевшего Ивана), преподавал в большом нью-йоркском университете и не видался со своим другом Пниным вот уже пять лет. Они обнялись с радостным, теплым урчанием. Признаюсь, одно время я сам был под обаянием ангельски кроткого Константина Ивановича, а именно в ту пору, когда мы зимой 1935-го или 1936-го года ежедневно встречались для утренней прогулки под лаврами и каркасными деревьями в Грассе, на юге Франции, где он тогда жил на одной вилле с несколькими другими выходцами из России. Его мягкий голос, аристократическая петербургская картавость, кроткие, грустные оленьи глаза, русая эспаньолка, которую он безпрестанно теребил, разбирая ее своими длинными изящными пальцами, – все в Шато (пользуясь литературным оборотом, столь же

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru старомодным, как и он сам) вызвало в его друзьях редкостное ощущение благополучия. Они поговорили немного, обмениваясь впечатлениями. Как нередко бывает между эмигрантами с твердыми убеждениями, всякий раз, когда они встречались после разлуки, они не просто наверстывали прошедшее с последней встречи время, но старались высказать – посредством нескольких кратких, как пароль, слов, намеков, интонаций, непередаваемых на чужом языке, – свое отношение к последним событиям русской истории, к тридцати пяти годам безнадежной неправды, последовавшим за столетием пробивавшей себе дорогу справедливости и светивших вдали надежд. Затем они перешли на обычную профессиональную тему европейских преподавателей за границей, вздыхая и качая головами по поводу «типичных американских студентов», которые не знают географии, нечувствительны к шуму и смотрят на образование только как на средство получения в будущем доходного места. Потом они расспросили друг друга, как подвигается работа, причем каждый говорил о своих изысканиях крайне скромно и сдержанно. Наконец, когда они шли, задевая мимоходом стебли золотарника, луговой тропинкой к лесу, где протекала каменистая речка, они заговорили о своем здоровье: Шато, казавшийся таким безпечным, державший одну руку в кармане белых фланелевых панталон, во фланелевом жилете под щегольски распахнутым люстриновым пиджаком, весело сообщил, что в недалеком будущем ему предстоит хирургическое исследование брюшной полости, а Пнин со смехом сказал, что всякий раз, что он подвергается рентгеноскопии, врачи тщетно пытаются разгадать причину того, что они называют «тенью за сердцем».

– Хорошее заглавие для скверного романа, – заметил Шато.

Когда они проходили мимо заросшего травой пригорка, сразу за которым начинался лес, к ним с отлогого склона спустился большими шагами розоволицый, почтенного вида господин в легком полосатом костюме, с копной седых волос и толстым лиловым носом, похожим на громадную малинину, с досадливо искаженным лицом.

– Я принужден вернуться за шляпой, – драматически воскликнул он, приблизившись.

– Вы знакомы? – пробормотал Шато, жестами представляя их друг другу. – Тимофей Павлыч Пнин, Иван Ильич Граминеев.

– Мое почтение, – сказали оба, поклонившись друг другу над крепким рукопожатием.

– Я полагал, – продолжал Граминеев, любивший в разговоре обстоятельность, – что день будет таким же пасмурным, как начался. По глупости я вышел с непокрытой головой. А теперь солнце печет мне мозги. Должен вот прервать работу.

Он указал на вершину пригорка. Там, изящно выделяясь на фоне синего неба, стоял его мольберт. С этого гребня он писал открывавшийся по ту сторону вид на долину с романтической старой ригой, корявой яблоней и коровами.

– Могу предложить вам свою панаму, – сказал добрый Шато, но Пнин уже достал из кармана халата большой красный носовой платок и ловко завязал узлами его концы.

– Чудесно... премного благодарен, – сказал Граминеев, прилаживая этот головной убор.

– Постойте, – сказал Пнин. – Нужно подоткнуть узлы.

Покончив с этим, Граминеев пошел наизволок к своему мольберту. Это был известный живописец откровенно академической школы, чьи задушевные полотна – «Волга-матушка», «Трое верных друзей» (мальчик, лошадь и собака), «Апрельская прогалина» и другие в том же роде – все еще красовались в одном московском музее.

– Мне кто-то говорил, – сказал Шато, меж тем как они с Пниным продолжали идти к реке, – что у Лизиного сына необычайные способности к живописи. Это правда?

– Да, – отвечал Пнин. – Тем более обидно, что его мать, которая, кажется, собралась в третий раз замуж, внезапно увезла Виктора до конца лета в Калифорнию, между тем, как если бы он поехал со мной сюда, как предполагалось, у него была бы положительно превосходная возможность позаняться с Граминеевым.

– Я бы сказал сравнительно превосходная, – мягко возразил Шато.

Они вышли к пенящейся, сверкающей речке. Впадина в скале между малюсенькими верхним и нижним водопадами образовала естественный купальный бассейн под ольхами и соснами. Шато, который не купался, удобно устроился на валуне. В продолжение всего академического года Пнин регулярно подставлял свое тело под лучи солнечной лампы; поэтому, раздевшись до купальных трусиков, он зардел густым отливом красного дерева, испещренным солнцем и тенью прибрежной рощицы. Он снял крестик и кенги.

– Посмотрите, как красиво, – сказал наблюдательный Шато.

Десятка два маленьких бабочек, все одного вида, сидели на мокром песке, подняв и сложив крылья, бледные с испода, с темными точками и крошечными, с оранжевой каймой, павлиньими лунками по кромке заднего крыла; одна из скинутых Пниным галош спугнула нескольких из них, и, обнаружив небесную голубизну лицевой поверхности крыльев, они запорхали вокруг, как голубые снежинки, а потом опять сели.

– Жаль, нет здесь Владимира Владимировича, – заметил Шато. – Он бы нам рассказал об этих восхитительных насекомых.

– Мне всегда казалось, что его энтомология просто поза.

– Ах, нет, – сказал Шато. – Вы так когда-нибудь потеряете его, – добавил он, указывая на крестик на золотой цепочке, который Пнин, сняв с шеи, повесил на ветку. Его блеск озадачил реявшую стрекозу.

– Может быть, я и не прочь потерять его, – сказал Пнин. – Как вам хорошо известно, я ношу его исключительно из сентиментальности. И сентиментальность эта становится обременительной. В конце концов, в этом стремлении удержать у грудной клетки частицу своего детства слишком уж много физического.

– Не вы первый сводите религиозное чувство к осязанию, – сказал Шато, который, будучи человеком церковным, не одобрял агностицизма своего друга.

Слепень, слепой дуралей, приложился к лысой голове Пнина и был тотчас оглушительно прихлопнут его мясистой ладонью.

С валуна поменьше того, на котором примостился Шато, Пнин осторожно ступил в коричневую и синюю воду. Он заметил у себя на руке часы – снял их и положил в одну из галош. Медленно поводя загорелыми плечами, Пнин брел вперед, и по его широкой спине сбегали, трепетали петлистые листовые тени. Он остановился и, разбивая блеск и тень вокруг себя, смочил наклоненную голову, потер мокрыми руками затылок, сполоснул по очереди подмышки и, сложив ладони, скользнул в воду, рассекая ее своим величественным брассом, отчего по обе стороны от него побежала зыбь. Пнин торжественно плыл кругом этого естественного водоема. Он плыл с равномерным отфыркиванием, булькая и отдуваясь. Равномерно разводил ноги и выбрасывал их в коленях и одновременно сгибал и распрямлял руки, наподобие гигантской лягушки. Поплавав таким образом минуты две, он вылез из воды и присел на камень обсушиться. Потом надел крестик, часы, кенги и халат.

5

Обедали на крытой террасе. Сидя рядом с Болотовыми и принимаясь размешивать сметану в красной ботвинье, в которой тренькали розовые кубики льда, Пнин автоматически возобновил давешний разговор.

– Заметьте, – сказал он, – что существует значительная разница между духовным временем Лёвина и физическим Вронского. К середине книги Лёвин и Кити отстают от Вронского и Анны на целый год. К тому времени, когда в воскресенье вечером, в мае семьдесят шестого года, Анна бросается под товарный поезд, она прожила больше четырех лет от начала романа, но в жизни Лёвиных за то же время, с семьдесят второго по семьдесят шестой год, прошло не более трех лет. Это лучший из известных мне примеров относительности в литературе.

После обеда затеяли играть в крокет. Здесь отдавали предпочтение освященной традицией, но в общем-то неправильной расстановке дужек, при которой две из десяти ставятся крест-накрест в центре площадки, образуя так называемую клетку, или мышеловку. Тотчас стало ясно, что Пнин, игравший в паре с г-жой Болотовой

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru против Шполянского и графини Порошиной, играет гораздо лучше остальных. Как только вбили в землю колы и игра началась, он совершенно преобразился. Обыкновенно медлительный, тяжеловесный и несколько неповоротливый, он превратился в необычайно подвижного, резвого, безмолвного, лукавого горбуна. Казалось, что все время была его очередь играть. Держа молоток очень низко и элегантно раскачивая его между расставленными журавлиными ногами (он произвел небольшую сенсацию, надев нарочно для игры бермудские штаны до колен), Пнин намечал каждый свой удар ловким прицельным помахиванием молотка, затем отчетливо стучал по шару и тотчас, все еще сгорбленный, пока шар еще катился, проворно переходил к тому месту, где, по его расчету, он должен был остановиться. Он прогонял его через дужки с геометрическим смаком, вызывая восхищенные возгласы зрителей. Даже Игорь Порошин, проходивший мимо как тень, с двумя жестянками пива, которые он нес на некое свое особое пиршество, остановился на секунду и одобрительно покачал головой, прежде чем скрыться в кустах. К рукоплеканиям, однако, примешивались жалобы и протесты, когда Пнин с свирепым безразличием крокировал, или, можно сказать, пикировал шар противника. Приставив вплотную к нему свой шар и крепко придавливая его своей на удивление маленькой ступней, он с треском лупил по своему шару, отбивая этим ударом чужой далеко прочь. Сюзанна, когда к ней апеллировали, сказала, что это совершенно против правил, но Шполянская утверждала, что это вполне допустимо, и сказала, что, когда она была девочкой, ее английская гувернантка называла этот удар «гонг-конг».

После того как Пнин стукнул об колышек и все было кончено, Варвара пошла помогать Сюзанне готовить вечерний чай, а он тихо удалился и сел на скамейку под соснами. Какое-то крайне неприятное и пугающее ощущение в области сердца, несколько раз испытанное им в продолжение взрослой жизни, снова нашло на него. То была не боль и не сердцебиение, но скорее жутковатое чувство утопания и растворения в окружавшей его физической среде – в закате, в рыжих стволах деревьев, в песке, в недвижимом воздухе. Тем временем Роза Шполянская заметила, что Пнин сидит один и, воспользовавшись этим, подошла к нему («сидите, сидите!») и присела рядом.

– Году в шестнадцатом-семнадцатом, – сказала она, – вам, может быть, доводилось слышать мою девичью фамилию – Геллер – от ваших близких друзей.

– Нет, не помню, – сказал Пнин.

– Ну, неважно. Мы, кажется, никогда и не встречались. Но вы хорошо знали Гришу и Миру Белочкиных, моих двоюродных. Они постоянно говорили о вас. Он теперь, кажется, живет в Швеции – и вы, конечно, слышали об ужасной смерти его несчастной сестры...

– Да-да, я знаю, – сказал Пнин.

– Ее муж, – сказала Шполянская, – был очаровательный человек. Мы с Самуил Львовичем очень близко знали его и его первую жену, Светлану Черток, пианистку. Он был интернирован нацистами отдельно от Миры и умер в том же концентрационном лагере, что мой старший брат Миша. Вы ведь не знали Мишу? Когда-то он тоже был влюблен в Миру.

– Тшай готофф, – крикнула Сюзанна с веранды на своем забавном рудиментарном русском языке. – Тимофей! Розочка! Тшай!

Пнин сказал Шполянской, что тоже скоро придет, и когда она ушла, остался сидеть в ранних сумерках аллеи, сложа руки на крокетном молотке, который все еще держал.

Две керосиновые лампы уютно освещали террасу дачи. Доктора Павла Антоновича Пнина, отца Тимофея, окулиста, и доктора Якова Григорьевича Белочкина, отца Миры, педиатра, нельзя было оторвать от шахматной партии в углу веранды, так что г-жа Белочкина велела служанке подать им туда – на особенном японском столике рядом с тем, за которым они играли, – стаканы с их чаем в серебряных подстаканниках, простоквашу с черным хлебом, землянику и другой культивированный ее вид, клубнику[37], и лучистые золотистые варенья, и разное печенье, вафли, крендельки, сухарики – вместо того чтобы звать двух увлеченных игрою врачей за главный стол в другом конце террасы, где сидели остальные члены семьи и гости, одни ясно различимые, другие расплывающиеся в светящемся тумане.

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Слепая рука д-ра Белочкина взяла крендель; зрячая рука д-ра Пнина взяла ладью.  
Д-р Белочкин, жуя, уставился на отверзшееся зияние в своих рядах; д-р Пнин  
обмакнул абстрактный сухарик в зиявшее отверстие своего стакана.

Дом, который в то лето снимали Белочкины, был на том же самом балтийском курорте, рядом с которым вдова генерала N. сдавала Пниным дачку на окраине своего обширного поместья, болотистого и запущенного, с темным лесом, теснившим заброшенную усадьбу. Тимофей Пнин опять был неуклюжий, застенчивый, упрямый восемнадцатилетний юноша, ожидающий Миру в сумраке, – и невзирая на то, что логика мысли вставила в керосиновые лампы электрические и перетасовала людей, превратив их в пожилых эмигрантов, и безнадежно, надежно, навеки обнесла проволочной сеткой освещенную веранду, мой бедный Пнин с ясностью галлюцинации увидел Миру, выскальзывающую оттуда в сад и идущую к нему меж высоких душистых табаков, тусклая белизна которых сливалась в полумраке с белизною ее платья. Это чувство каким-то образом соответствовало ощущению растворения и расширения в его груди. Он тихо отложил молоток и чтобы развеять тоску пошел прочь от дома через безмолвную сосновую рощу. Из запаркованного возле сарая с садовыми инструментами автомобиля, в котором, по-видимому, сидело по крайней мере двое детей приехавших сюда друзей Пнина, доносилось монотонное журчанье радиомузыки.

– Джаз, джаз, эта молодежь минуты не может обойтись без джаза, – проворчал Пнин себе под нос и свернул на тропинку, которая вела к лесу и реке. Ему вспомнились увлечения своей и Мириной юности, любительские спектакли, цыганские романсы, ее страсть фотографировать. Где они теперь, эти ее художественные снимки – собаки, облака, апрельская прогалина с тенями берез на сахарно-мокром снегу, солдаты, позирующие на крыше товарного вагона, закатный край неба, рука, держащая книгу? Ему вспомнилось их последнее свидание на набережной Невы, и слезы, и звезды, и теплый, ярко-розовый шолк подкладки ее каракулевой муфты. Гражданская война разлучила их – история расстроила их помолвку. Тимофей пробрался на юг, где он недолго был в денкинской армии, а семья Миры бежала от большевиков в Швецию, потом осела в Германии, где она со временем вышла замуж за меховщика родом из России. Как-то в начале тридцатых годов Пнин, в ту пору уже женатый, приехал с женою в Берлин, где ей хотелось побывать на съезде психотерапевтов, и однажды вечером, в русском ресторане на Курфюрстендаме, он опять увидел Миру. Они обменялись несколькими словами, она улыбнулась ему, как бывало, из-под темных бровей, застенчиво и лукаво, и контур ее выпуклых скул, и ее удлиненные глаза, и тонкость ее рук и щиколок были все те же, были безсмертны, а потом она вернулась к мужу, который ушел в гардероб за пальто, и тем все и кончилось – но болезненный укол нежности не проходил, как дрожащий очерк стихов, которые знаешь, что знаешь, но не можешь вспомнить.

Слова слишком разговорчивой Шполянской вызвали в его воображении образ Миры с небывалой силой. Это разбередило его. Вынести это хотя бы на мгновение можно было только в отрешенности неизлечимой болезни, в состоянии душевного равновесия перед близкой смертью. Чтобы существовать рационально, Пнин приучил себя за последние десять лет никогда не вспоминать Миру Белочкину, – не оттого, что память о юношеском романе, банальном и кратком, угрожала его душевному покою (увы, воспоминание о браке с Лизой обладало достаточной властью, чтобы вытеснить любое прежнее увлечение), а оттого, что, положив руку на сердце, никакой совести, а значит, и никакому самосознанию не оставалось места в мире, где возможны были такие вещи, как смерть Миры. Необходимо было забыть об этом – потому что ведь нельзя было ужиться с мыслью, что эту вот милую, тонкую, нежную молодую женщину, вот с этими глазами, с этой улыбкой, с этими садами и снегами на заднем плане, привезли в скотском вагоне в истребительный лагерь и убили, впрыснув ей фенола в сердце, в то самое кроткое сердце, биенье которого ты слышал под своими губами в сумерках прошлого. И оттого, что не было точно известно, какой именно смертью умерла Мира, она продолжала умирать в его воображении множеством смертей и множество раз воскресала – чтобы снова умереть, и вот ее снова уводит дипломированная медицинская сестра на прививку какой-то дрянью, бациллами столбняка, битым стеклом, вот ее травят под бутафорским душем с синильной кислотой, сжигают заживо в яме на облитой бензином куче буковых дров. По словам следователя, с которым Пнину случилось как-то говорить в Вашингтоне, твердо установлено было только то, что ее как слишком слабосильную для работы (хотя все еще улыбающуюся, все еще в силах помогать другим еврейским женщинам) отобрали для уничтожения и сожгли в крематории через несколько дней по прибытии в Бухенвальд, в чудесной лесистой местности с громким именем Большой Эттерсберг. Это в часе ходьбы от Веймара, где гуляли Виланд, Гердер, Гёте, Шиллер, несравненный Коцебу и прочие. «Aber warum, но для чего, – сокрушался бывало д-р

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Гаген, этот кротчайший из смертных, – для чего нужно было устраивать этот ужасный лагерь так близко!» – ибо он и впрямь был близко – всего в пяти милях от средоточия немецкой культуры – «этой нации университетов», как изящно выразился, анализируя положение в Европе в своей недавней актовой речи президент Вэйндельского университета, известный умением блеснуть красным словом; в той же речи он отпустил комплимент и по адресу другого застенка, «России – страны Толстого, Станиславского, Раскольникова и других превосходных, великих людей».

Пнин медленно брел под торжественными соснами. Небо меркло. Он не верил в самодержавного Бога. Он смутно верил в некую демократию духов. Быть может, души умерших образуют комитеты, которые на своем непрерывном заседании решают участь живых.

Комары становились все назойливее. Пора идти пить чай. Пора играть в шахматы с Шато. Этот странный приступ прошел, вернулась свобода дышать. На далеком гребне косогора, на том самом месте, где за несколько часов перед тем стоял граминеевский мольберт, темнели в профиль два силуэта на фоне раскаленного как угли неба. Они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. С дороги нельзя было разобрать, дочка ли это Порошиных со своим кавалером, или Нина Болотова с молодым Порошиным, или просто эмблематическая пара, легкой рукой художника помещенная на последней странице гаснувшего дня Пнина.

## Глава шестая

### 1

Начался осенний семестр 1954-го года. На мраморной шее невзрачной Венеры в вестибюле гуманитарного корпуса опять появился малиновый отпечаток губной помады (имитация поцелуя). В «Вэйндельских ведомостях» опять дебатировалась «проблема автомобильных стоянок». Усердные первокурсники опять надписывали на полях библиотечных книг полезные пояснения вроде «описание природы» или «ирония»; а один особенно искушенный школяр в прелестном издании стихов Маллармэ уже успел подчеркнуть лиловыми чернилами трудное слово «oïseaux» и намарать над ним «птицы». Осенние вихри опять залепили палой листвой одну сторону решетчатой галереи, которая вела из гуманитарного во Фриз-Холл. Опять в безоблачные дни над асфальтом и газоном парили огромные янтарно-коричневые бабочки-данаиды, медленно уплывая на юг, неплотно подобрыв черные лапки, довольно низко свисавшие из-под черного в белую крапинку тельца.

А в университете все шло, скрипя, своим чередом. Неутомимые аспиранты со своими беременными женами по-прежнему строчили диссертации о Достоевском и Симоне де Бовуар. Кафедры литературы все еще корпели в твердой уверенности, что Стендаль, Галсворти, Драйзер и Манн – великие писатели. Все еще в моде были синтетические слова вроде «конфликта» и «модели». Как всегда, бесплодные преподаватели успешно занимались «производительным трудом», рецензируя книги более плодовых коллег, и, как всегда, те из профессоров, кому повезло, пожинали или собирались пожинать плоды различных премий, присужденных им в начале года. Так, например, забавное маленькое пособие предоставило разносторонне одаренной чете Старров (Христофору Старру с младенческим лицом и его молоденькой жене Луизе) с кафедры изящных искусств редчайшую возможность записать послевоенные народные песни в Восточной Германии, куда эти паразитические молодые люди каким-то образом получили разрешение проникнуть. Дуглас В.Томас (которого приятели звали просто Том), профессор антропологии, получил десять тысяч долларов от Мандовильского фонда для изучения гастрономических обычаев кубинских рыбаков и пальмолазов. Другое благотворительное учреждение поддержало д-ра Бодо фон Фальтернфельса, чтобы он мог завершить «библиографию, обнимающую опубликованные и рукописные работы последних лет, посвященные критической оценке влияния последователей Ницше на современную мысль». И наконец, особенно щедрая субсидия позволила прославленному вэйндельскому психиатру, д-ру Рудольфу Аура, поставить на десяти тысячах учащихся начальных классов так называемый Пальцемакательный Опыт, при котором ребенку предлагают окунуть указательный палец в чашки с цветной жидкостью, после чего отношение длины пальца к его намоченной части измеряется и вычерчивается на разных увлекательных диаграммах.

Начался осенний семестр, и д-р Гаген оказался в затруднительном положении. Летом один старый приятель частным образом запросил его, не согласится ли он занять исключительно доходную кафедру в Сиборде, гораздо более солидном университете, чем Вэйндель. С этой стороны задача решалась сравнительно легко. С другой же стороны, ему делалось не по себе при мысли, что с такой любовью созданная им кафедра, с которой куда более богатая средствами французская Блоренджа не могла

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
тягаться в культурном значении, попадет в когти коварного Фальтернфельса, которого он, Гаген, вытащил из Австрии и который теперь подкапывался под него – например, с помощью закулисных маневров прибрал к рукам Eugora Nova, влиятельное ежеквартальное издание, основанное Гагеном в 1945-м году. Предполагаемый уход Гагена – о котором он покуда ничего не сообщал своим коллегам – должен был иметь одно еще более печальное последствие: внештатный профессор Пнин неминуемо оставался за бортом. В Вэйнделе никогда не водилось постоянного русского отделения, и академическое существование моего бедного друга всегда зависело от эклектического немецкого, которое пользовалось его услугами в одном из своих разветвлений, как бы в подотделе сравнительной литературы. И уж конечно Бодо просто назло отсечет этот сук, и Пнин, у которого не было постоянного контракта с Вэйнделем, вынужден будет уйти – если только его не приютят при какой-нибудь другой литературно-лингвистической кафедре. Такая возможность как будто имела только на английской и французской. Но Джэк Коккерель, глава английской, относился с неодобрением ко всему, что делал Гаген, Пнина всерьез не принимал, а кроме того, не официально, но довольно успешно торговался о приобретении услуг одного известного англо-русского писателя, способного, если нужно, читать все те курсы, которые оправдывали академическое существование Пнина. И Гагену ничего не оставалось другого, как обратиться к Блоренджу.

2

У Леонарда Блоренджа, заведовавшего кафедрой французской литературы и языка, были две занятные особенности: он не любил литературы и не знал по-французски. Это не мешало ему покрывать огромные расстояния, чтобы присутствовать на съездах Всеамериканского Общества Новых Языков [38], на которых он щеголял своим невежеством так, словно это была какая-то царственная причуда, и парировал любую попытку завлечь его в сети парлэ-франсэ мощными выпадами увесистого масонского юмора. Весьма ценный добыватель денежных пожертвований, он незадолго перед тем уговорил одного престарелого богача, которого безуспешно обхаживали три крупных университета, ассигновать фантастическую сумму на целую оргию изысканий, проводимых аспирантами под руководством канадца д-ра Славского, для сооружения на холме в окрестностях Вэйнделя «французской деревни» о двух улицах и площади – точной копии древнего городка Ванделя в Дордони. Несмотря на всегдашнее присутствие грандиозного начала в административных озарениях Блоренджа, сам он был человек аскетических вкусов. Он некогда учился в одной школе с Сэмом Пуром, теперешним президентом, и в продолжение многих лет, даже после того, как тот потерял зрение, они регулярно ездили вместе удить рыбу на унылое, взъерошенное ветром озеро в конце немощной дороги с иван-чаем по обочинам, в ста верстах к северу от Вэйнделя, в какой-то тоскливой местности – малорослые дубки да сосновые питомники, – которые в мире природы соответствуют городским трущобам. Его жена, милая женщина из простых, за глаза называла его в своем клубе «профессор Блорендж». Он читал курс под названием «Великие французы», который он дал своей секретарше переписать из комплекта «Гастингского исторического и философского журнала» за 1882–1894 годы, найденного им на чердаке и в университетской библиотеке не значившегося.

3

Пнин только что снял маленький дом и пригласил Гагенов, Клементсов, Тэеров и Бетти Блисс на новоселье. Утром этого дня добрейший д-р Гаген сделал отчаянный визит в контору Блоренджа и открыл ему, и только ему одному, положение дел. Когда он сказал Блоренджу, что Фальтернфельс – убежденный анти-Пнинист, Блорендж сухо заметил, что он разделяет это убеждение, более того – познакомившись с Пниным в обществе, он «положительно почувствовал» (прямо удивительно, до чего эти практические люди склонны «чувствовать», а не думать), что Пнина нельзя на пушечный выстрел подпускать к американским учебным заведениям. Гаген не растерялся и сказал, что в течение нескольких лет Пнин превосходно справлялся с Романтическим Движением и уж наверное мог бы совладать с Шатобрианом и Виктором Гюго под эгидой французской кафедры.

– Этой братьей занимается у нас д-р Славский, – сказал Блорендж. – Вообще мне иногда кажется, что мы чересчур напираем на литературу. Посудите сами – на этой неделе мисс Мопсуестия начинает экзистенциалистов, этот ваш Бодо взял Ромэна Роллана, я читаю о генерале Буланже и Беранже. Нет, с нас решительно довольно всей этой музыки.

Гаген, ставя на свою последнюю карту, сказал, что Пнин мог бы преподавать французский язык: как у многих русских, у нашего друга в детстве была в гувернантках француженка, и после революции он прожил более пятнадцати лет в

Париже.

– Вы хотите сказать, – строго спросил Блорендж, – что он может говорить по-французски?

Гаген, отлично знавший особые запросы Блоренджа, заколебался.

– Говорите прямо, Герман, – да или нет?

– Я уверен, что он сможет приноровиться.

– Ага, стало быть, говорит?

– Ну, допустим.

– А в таком случае, – сказал Блорендж, – мы не можем дать ему курса для начинающих. Это было бы несправедливо по отношению к нашему Смигу, который в этом году ведет начальный курс и от которого, естественно, требуется быть только на один урок впереди класса по учебнику. Правда, нашему Хашимото нужен помощник для его переполненной переходной группы. Но, может быть, этот ваш приятель не только говорит, но и читает по-французски?

– Повторяю, он может приноровиться, – увильнул Гаген.

– Знаем мы, как он приноровится, – сказал Блорендж поморщившись. – В пятидесятом году, когда Хаш был в отъезде, я нанял одного швейцарского лыжного инструктора, так тот контрабандой протащил мимеокопии какой-то старой французской антологии. Нам пришлось потом потратить чуть ли не целый год, чтобы вернуть класс к первоначальному уровню. Словом, если этот, как его, не умеет читать по-французски –

– Боюсь, что умеет, – со вздохом сказал Гаген.

– Тогда он вообще нам не подходит. Как вам известно, мы полагаемся только на грамофонные записи разговорной речи и прочие технические пособия. Никаких книг не допускается.

– Остается еще курс совершенствования языка, – пробормотал Гаген.

– Этот ведем мы с Каролиной Славской, – ответил Блорендж.

4

Для Пнина, который пребывал в полном неведении относительно этих хлопот своего покровителя, новый осенний семестр начался особенно удачно: никогда еще у него не бывало так мало студентов, то есть так много времени для собственных научных занятий. Занятия эти давно уже вступили в ту волшебную пору, когда само исследование делается важнее конечной его цели и образуется новый организм, можно сказать паразитирующий на созревающем плоде. Пнин отвращал духовный взор от конечного пункта назначения своего труда, который виделся ему так отчетливо, что можно было различить шутиху астериска и вспышку «sic!». Этого берега приходилось сторониться, как всего, что убивает наслаждение безконечного приближения. Справочные карточки постепенно заполняли обувную коробку своей плотной массой. Сопоставление двух сказаний; драгоценная подробность обычая или одежды; ссылка, на поверку оказавшаяся ложной вследствие невежества, небрежности или недобросовестности автора; мурашки по спине от счастливой догадки; и все безчисленные радости, какие доставляет безкорыстная филология, – все это избаловало Пнина до порчи, превратило его в счастливого, одурманенного сносками маньяка, готового потревожить книжных клещей в каком-нибудь скучном, в пол-аршина толщиной фолианте затем только, чтобы найти в нем ссылку на другой, еще того скучнее. А в ином, более человеческом плане имелся кирпичный домик, который он снимал на Тоддовой улице, на углу Утесного проспекта.

Прежде там жила семья покойного Мартина Шеппарда, дяди предыдущего хозяина Пнина на Проточной, многие годы служившего смотрителем земельных владений Тоддов, которые теперь приобрела вэйндельская городская управа, с тем чтобы превратить их разбросанную усадьбу в современную богатырьню. Плющ и хвоя скрывали запертые ее ворота, верх которых Пнин мог видеть по другую сторону Утесного проспекта из северного окна своего нового жилья. Проспект этот образовывал перекладину буквы

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
«Т», в левостороннем пересечении которой он и обитал теперь. Напротив фасада его дома, сейчас же за Тоддовой улицей (стойка этого «Т»), старые ильмы отгораживали песчаную обочину ее заплатанного асфальта от кукурузного поля на востоке, а за забором по западной стороне в направлении кампуса шагала шеренга молодых елок, совершенно одинаковых выскочек, доходя почти до соседней резиденции – дома тренера университетской «футбольной» команды в виде большого сигарного ящика, стоявшего в версте к югу от дома Пнина.

Ощущение, что он живет сам по себе, в собственном доме, было для Пнина до странности упоительным; оно глубоко удовлетворяло наболевшей старой потребности его сокровенного существа, забитого и оглушенного тридцатью годами безприютства. Одним из самых восхитительных достоинств этого места была тишина – ангельская, сельская, совершенно непроницаемая, составлявшая блаженную противоположность непрестанной какофонии, осаждавшей его с шести сторон в наемных комнатах его прежних пристанищ. А до чего этот крохотный домик был поместителен! Пнин с благодарным удивлением думал, что, не будь ни революции, ни эмиграции, ни экспатриации во Франции, ни натурализации в Америке, всё – и то в лучшем случае, в лучшем случае, Тимофей! – было бы точно так же: профессура где-нибудь в Харькове или Казани, загородный дом вроде этого, в доме старые книги, за домом поздние цветы. Если же рассуждать трезво, это был двухэтажный дом вишнево-красного кирпича, с белыми ставнями и гонтовой крышей. Зеленый участок, на котором он стоял, с палисадником аршин в пятьдесят, оканчивался позади отвесной стеной мшистого утеса с вершиной, обросшей бурым чапыжником. Едва заметная колея вдоль южной стороны дома вела к выбеленному гаражику для плохонькой автомашины Пнина. Странная, корзинообразная сетка, несколько напоминавшая сублимированный кошель бильярдной лузы – однако без дна, – свисала зачем-то над подъемными воротами гаража, на белую поверхность которых она отбрасывала тень – такую же четкую, как и ее собственный плетеный подлинник, но только крупнее и синее[39]. На покрытый сорной травой пустырь между гаражом и утесом заходили фазаны. Сирень – краса русских садов, весеннюю роскошь которой, сплошь из меда и гуда, так предвкушал мой бедный Пнин, – теперь теснилась сухими рядами вдоль одной из стен дома. И одно высокое лиственное дерево, которого Пнин, привычный лишь к березам, липам, ивам, осинам, тополям да дубам, не мог определить, бросало свои крупные, сердечком, ржавого цвета листья и бабьего лета тени на деревянные ступени открытого крыльца.

Подозрительного вида нефтяная печь в подвале что было сил подавала свое слабое теплое дыхание сквозь отдушины в полу. Кухня же выглядела благополучно и весело, и Пнин долго разбирался во всякой утвари, котелках и кастрюлях, жаровнях для гренок и сковородах, которые достались ему в придачу к дому. Гостиная была меблирована скудно и серо, но в ней имелась довольно привлекательная ниша с окном, где обитал огромный старый глобус, на котором Россия была бледно-голубая, с выцветшим или вытертым пятном по всей Польше. В очень маленькой столовой, где Пнин задумал устроить для своих гостей ужин à la fourchette, пара хрустальных подсвечников с подвесками запускала по утрам радужные блики, которые прелестно загорались на стенке буфета и напоминали моему сентиментальному другу цветные стекла на верандах русских усадеб, окрашивавшие солнце в оранжевые, зеленые и лиловые тона. Всякий раз, что он проходил мимо посудного шкапа, тот принимался дребезжать, и это тоже было знакомо по смутным задним комнатам прошлого. На втором этаже располагались две спальни, где перебивало много маленьких детей, а иногда и случайных взрослых. Полы там были в длинных царапинах от оловянных игрушек. Со стены комнаты, которую Пнин сделал своей спальней, он открепил картонный красный выпел, что ли, с загадочным словом «Кардиналы», намалеванным на нем белой краской[40]; но крошечной качалке розового цвета – для трехлетнего Пнина – позволено было остаться в своем углу. Отслужившая свое швейная машина занимала проход в ванную, где короткая, как водится в Америке, ванна, созданная для карликов племенем великанов, наполнялась так же медленно, как бассейны и резервуары в русских задачах.

Теперь он был готов принять гостей. В гостиной стоял диван, на котором могли поместиться три человека, имелись два вольтеровских кресла, одно туго набитое глубокое кресло, кресло с камышовым сиденьем, пуф и две скамеечки для ног. Просматривая список приглашенных, он вдруг испытал странное чувство неудовольствия. Была тут крепость, но не чувствовалось букета. Он, конечно, был несказанно рад Клементсам (настоящие люди – не то что большинство университетских манекенов), с которыми он имел столько оживленных бесед, когда квартировал у них; и он безусловно был весьма признателен Герману Гагену за множество добрых услуг, вроде того повышения оклада, которое Гаген недавно

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
устроил; и г-жа Гаген несомненно была, на вэйндельском жаргоне, «чудный человек», и г-жа Тэер всегда подходила к нему на помощь в библиотеке, а ее муж обладал отрядной способностью подтверждать собственным примером, до чего человек может быть немногословен, если решительно уклоняется от обсуждения погоды. Но в этом сочетании людей не было ничего необычайного, оригинального, и постаревший Пнин вспоминал дни рождения своего детства – пять или шесть приглашенных детей, почему-то всегда одних и тех же, и тесные ботинки, и боль в висках, и ту тяжкую, безрадостную, давящую скуку, которая овладевала им, когда все игры уже переиграны и буян двоюродный брат начинал выделять пошлые и глупые трюки с чудесными новыми игрушками; ему вспомнился еще звон одиночества в ушах, когда во время затянувшейся, однообразной игры в прятки он, просидев битый час в неудобном укрытии, выбрался из темного и затхлого шкапа в комнате служанки и обнаружил, что все его товарищи давно разошлись по домам.

При посещении знаменитого гастрономического магазина, расположенного на полпути от Вэйндельвиля к Изоле, он встретил Бетти Блосс, пригласил ее, и она сказала, что все еще помнит тургеневское стихотворение в прозе о розах, с припевом «как хороши, как свежи», и, разумеется, с радостью придет. Он пригласил знаменитого математика профессора Идельсона с женой-скульпторшей, и они сказали, что с удовольствием придут, но потом телефонировали, что им ужасно жаль, но они совсем упустили из виду, что уже приглашены в другое место на этот вечер. Он позвал молодого Миллера, теперь уже адъюнта, с Шарлоттой, его хорошенькой веснучатой женой, но оказалось, что она вот-вот должна родить. Он позвал старого Карроля, старшего швейцара Фриз-Холла, с сыном Франком, который был единственным одаренным студентом моего друга, написавшим блестящее докторское сочинение о взаимоотношениях русского, английского и немецкого ямба; но Франк был в армии, а старик Карроль откровенно сказал, что «профессора сами по себе, а они с хозяйкой – сами по себе». Он позвонил по телефону в резиденцию президента Пура, с которым он однажды беседовал об усовершенствовании учебной программы во время церемонии на открытом воздухе, покуда не пошел дождь, и пригласил его, но племянница Пура ответила, что ее дядя теперь «никого не посещает, кроме нескольких близких друзей». Он уже хотел было отказаться от намерения оживить список своих гостей, когда ему пришла в голову совершенно новая и прямо замечательная идея.

5

И Пнин, и я давно примирились с тем неприятным, но редко обсуждаемым фактом, что в среде университетских преподавателей всегда можно найти не только кого-нибудь необычайно похожего на вашего зубного врача или на местного почтмейстера, но и двойников в одном и том же профессиональном кругу. Мне известен даже случай тройни в одном сравнительно небольшом колледже, причем, по словам его наблюдательного президента Франка Рида, коренным в этой тройке был, как это ни странно, я сам; и я вспоминаю, как покойная Ольга Кроткая однажды рассказала мне, что среди полусотни профессоров Школы ускоренного изучения языков, где во время войны этой бедной даме об одном легком пришлось преподавать латинский и греческий языки, было целых шестеро Пниных, помимо подлинного и, на мой взгляд, неповторимого экземпляра. Поэтому не приходится удивляться, что даже Пнин, в повседневной жизни человек не особенно наблюдательный, не мог не заметить (на девятом году своего пребывания в Вэйнделе), что долговязый пожилой господин в очках, с профессорской, стального цвета прядью, спадавшей на правую сторону его небольшого, но морщинистого лба, с глубокими бороздами, сбегавшими от его острого носа к углам длинной верхней губы, – человек, известный Пнину как профессор Томас Д. Войнич, заведующий кафедрой орнитологии, с которым он как-то в одной компании беседовал о веселых иволгах, меланхолических кукушках и других русских лесных птицах, – что он не всегда бывал профессором Войничем. Время от времени он как бы перевоплощался в кого-то другого, кого Пнин не знал по имени, но именовал про себя, с характерной для иностранца склонностью к каламбурам, «Двойничем». Мой друг и соотечественник скоро сообразил, что никогда он не может сказать наверняка, действительно ли этот похожий на Филина, быстро шагающий господин, с которым он каждый день сталкивался в разных точках своих хождений между кабинетом и классной комнатой, между классной комнатой и лестницей, между фонтанчиком питьевой воды и уборной, – был его случайный знакомый, орнитолог, с которым он полагал своим долгом здороваться, проходя мимо, или то был похожий на Войнича незнакомец, отвечавший на эти унылые приветствия с точно той же машинальной любезностью, с какой бы это делал и любой случайный знакомый. Самая встреча обыкновенно бывала очень краткой, потому что и Пнин, и Войнич (или Двойнич) шагали шибко; и порою Пнин, чтобы избежать этого обмена учтивым лаем, делал вид, что читает на ходу письмо или изловчался улизнуть от быстро приближавшегося коллеги и мучителя, сворачивая на лестницу и затем продолжая

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
свой путь по коридору нижнего-этажа; но едва успел он обрадоваться хитроумию своей уловки, как, воспользовавшись ею однажды, он едва не столкнулся с Двойничем (или Войничем), тяжело топавшим по коридору этого нижнего этажа. Когда начался новый осенний семестр (для Пнина десятый), неловкость положения еще усугубилась тем, что изменились классные часы Пнина, упразднив тем самым некоторые маршруты, на которые он рассчитывал в своих усилиях избегать Войнича и того, кто прикидывался Войничем. Казалось, он должен будет навсегда примириться с этим положением. Припоминая некоторые другие раздвоения, случившиеся в прошлом, – обезкураживающие сходства, которые он один замечал, – озабоченный Пнин не сомневался в том, что было бы бесполезно просить посторонних помочь ему разобраться в этих Т. Д. Войничах.

В день назначенного приема, когда он кончал свой поздний завтрак в Фриз-Холле, Войнич, или его двойник (ни тот ни другой никогда прежде там не появлялся), вдруг подсел к нему и сказал:

– Давно хотел спросить вас кой о чем – вы ведь преподаете русский язык, не так ли? Летом я читал в одном журнале статью о птицах —

(«Войнич! Это Войнич!» – сказал Пнин про себя и тотчас решился действовать).

– Так вот, автор этой статьи – забыл его фамилию, кажется русская, – говорит между прочим, что в Скофской губернии – я правильно произношу? – местные пироги выпекаются в виде птицы. В основе тут лежит, конечно, фаллический символ, но мне интересно, знаете ли вы о таком обычае?

Тут Пнину пришла в голову блестящая мысль.

– Сударь, я к вашим услугам, – сказал он с ноткой восторга, задрожавшей в его горле, ибо он теперь знал, как наверняка установить личность хотя бы первоначального Войнича – любителя птицы. – Да, сударь. Мне все известно об этих жаворонках, об этих alouettes, этих... – надо посмотреть в словаре английское название. И вот я пользуюсь случаем сердечно просить вас посетить меня сегодня вечером. Половина девятого, после полудня. Небольшая soîrée по случаю новожилья, не более того. Приводите также свою супругу – или, может быть, вы кандидат-сердцевед?

(О, как любил он каламбурить!)

Его собеседник сказал, что не женат. Он с удовольствием придет. Где он живет?

– Дом номер девятьсот девяносто девять, Тодд Родд[41], очень просто! В самом-самом конце Тодд Родд, там, где она соединяется с Утесной: маленький кирпичный дом и большой черный утес.

6

К вечеру Пнину уж не терпелось начать кулинарные операции. Он приступил к ним вскоре после пяти и прервал их только для того, чтобы облачиться для приема гостей в сибаритскую домашнюю куртку синего шолка, с кистями и атласными отворотами, выигранную на эмигрантском благотворительном базаре в Париже за двадцать лет перед тем – как же время летит! С этой курткой он носил пару старых панталон от смокинга, тоже европейского происхождения. Разглядывая себя в треснувшем зеркале шкафчика для лекарств, он надел свои массивные черепаховые очки для чтения, из-под седловины которых гладко выпячивался картошкой его расейский нос. Оскалил свои синтетические зубы. Исследовал щеки и подбородок, чтобы удостовериться, что утреннее бритье не требовало теперь повторного (не требовало). Большим и указательным пальцами он ухватил в ноздре длинный волосок и со второго рывка выдернул его и смачно чихнул, издав в конце здоровый и краткий кряк.

В половине восьмого явилась Бетти, чтобы помочь с последними приготовлениями. Бетти теперь преподавала английский язык и историю в Изольской гимназии. Она не изменилась с той поры, когда была полненькой аспиранткой. Ее близорукие серые глаза с розовым обводом смотрели на вас с тою же чистосердечной симпатией. У ней были все те же густые волосы, уложенные, как у Гретхен, тугим кольцом вокруг головы. Тот же самый шрам виднелся на ее нежном горле. Но на пухлой руке появилось обручальное колечко с крохотным бриллиантом, и она с жеманной гордостью выставила его на обозрение Пнину, и ему на мгновение сделалось как

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
будто грустно. Ему подумалось, что было время, когда он мог бы поухаживать за ней – и даже начал было; но душой она была горничная, и в этом отношении тоже ничего не изменилось. Она по-прежнему пересказывала какую-нибудь затяжную историю способом «она мне... – а я ей... – а она мне...». Ничто в мире не могло разуверить ее в осведомленности и остроумии любимого женского журнала. У нее по-прежнему была занятная манера – общая еще двум-трем молодым мешаночкам в ограниченном кругу знакомых Пнину женщин – легонько, выдержав паузу, похлопывать вас по рукаву, скорее признавая, чем отклоняя ваше замечание, напоминающее ей о какой-нибудь ее мелкой провинности: вы говорите «Бетти, вы забыли вернуть мне книгу» или «Помнится, Бетти, вы говорили, что никогда не выйдете замуж», и прежде чем ответить, она пускает в ход этот учтиво-потупленный жест, отдергивая туповатые пальцы в тот самый миг, что они прикасаются к вашей кисти.

– Он биохимик, теперь он в Питтсбурге, – сказала Бетти, помогая Пнину разложить намазанные маслом ломтики французской булки кругом горшочка со свежей глянцеви́то-серой икрой и вымыть три крупные виноградные грозди. Имелась также большая тарелка тонко нарезанного холодного мяса, настоящий немецкий пумперникель и блюдо совершенно особенного винегрета, в котором креветки водили компанию с пикулями и горошком, да еще крошечные сосиски в томатовом соусе, и горячие пирожки с грибами, с мясом, с капустой, и четыре сорта орехов, и всякие интересные восточные сласти. Напитки были представлены бутылкой скотча (Беттино приношение), рябиновкой, гренадиновым ликером и уж всенепременно пнинским пуншем – пьянящей смесью охлажденного Шато Икем, помплимусового сока и мараскина, которую хозяин уже начал торжественно готовить в большой чаше сверкающего аквамаринового стекла с декоративным орнаментом из переплетающихся жилок и листьев кувинок.

– Ах, какая прелесть! – воскликнула Бетти.

Пнин оглядел чашу с приятным удивлением, как если бы видел ее впервой. Это, сказал он, подарок Виктора. Вот оно что, а как он поживает, как ему нравится школа? Не очень. Начало лета он провел с матерью в Калифорнии, потом два месяца работал в Йосемитской гостинице. В какой-какой? В отеле, в горной Калифорнии. И вот, он вернулся к себе в школу и вдруг прислал мне эту чашу.

По какому-то трогательному совпадению она прибыла в тот самый день, когда Пнин, пересчитав стулья, начал готовиться к своему званому вечеру. Она пришла в коробке внутри другой коробки, которая лежала в третьей, и была упакована в массу обильной мягкой стружки и бумаги, разлетевшейся по кухне, как буря карнавального серпантина. Явившаяся наконец на свет чаша была одним из тех подарков, которые с самого начала вызывают в душе одаренного цветной образ, геральдическое пятно, обозначающее милую сущность дарителя с такой символической силой, что матерьяльные признаки вещи как бы растворяются в этом чистом внутреннем сиянии, но когда их похвалит посторонний человек, которому неведома истинная красота подарка, они внезапно и навеки обретают сверкающее бытие.

7

Домик огласился музыкальным звоном, и вошли Клементсы с бутылкой французского шампанского и снопиком георгин.

Коротко подстриженная, с темно-синими глазами и длинными ресницами, Джоана была в своем старом черном толковом платье, которое выглядело наряднее всего, что могли изобрести другие профессорские жены, и, как всегда, было одно удовольствие смотреть, как почтенный, лысый Тим Пнин слегка наклоняется, чтобы коснуться губами легкой руки, которую Джоана, единственная из всех вэйндельских дам, умела подать как раз на высоте, удобной для поцелуя русского джентльмена. Лоренс, еще больше располневший, в элегантном сером фланелевом костюме, тяжело опустился в мягкое кресло и сейчас же схватил первую попавшуюся книгу, которая оказалась англо-русским и русско-английским карманным словарем. Держа на отлете очки, он посмотрел в сторону, пытаясь вспомнить что-то, что всегда хотел проверить, но теперь не мог припомнить, что именно, и эта поза еще усилила его поразительное сходство, несколько en jeune[42], с Ван-Эйковым Каноником ван дер Пэлем, с его массивной челюстью и с пушком нимба вокруг головы, застывшим перед удивленной Богородицей, к которой какой-то статист, наряженный Св. Георгием, пытается привлечь внимание почтенного каноника. Все тут было: и узловатый висок, и печальный, задумчивый взор, и складки и борозды лицевой плоти, и тонкие губы, и даже бородавка на левой щеке.

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Только что Клементсы расположились, как Бетти впустила человека, интересовавшегося птицеобразными пирогами. Пнин хотел было сказать «Профессор Войнич», но на его беду Джоана прервала его возгласом: «Да мы знаем Томаса! Кто ж не знает Тома?» Тим Пнин вернулся на кухню, а Бетти предложила гостям болгарские папирасы.

– А я полагал, Томас, – заметил Клементс, закладывая одну жирную ногу на другую, – что вы теперь в Гаване интервьюируете лазающих на пальмы рыбаков.

– Я и поеду, только после зимних экзаменов, – сказал профессор Томас. – Собственно, большая часть полевых исследований уже проделана другими.

– А все-таки признайтесь, приятно было получить эту субсидию?

– В нашей области, – невозмутимо ответил Томас, – приходится часто ездить в нелегкие экспедиции. Меня может даже занести к Наветренным островам. Если, – добавил он с глухим смешком, – сенатор Мак-Картти не прихлопнет вообще заграничные путешествия.

– Он получил пособие в десять тысяч долларов, – сказала Джоана Бетти, лицо которой сделало реверанс, то есть она скорчила ту особенную гримаску (медленный полукивок и натянутые подбородок и нижняя губа), которая на мимическом языке женщин, подобных Бетти, неизменно означает, что она почтительно, поздравительно, с примесью благоговения принимает к сведению такие грандиозные события, как обед с начальником, публикацию имени в справочнике «Кто – Что»[43] или знакомство с герцогиней.

Тэеры, прибывшие в недавно купленном автомобиле семейного типа, преподнесли хозяину изящную коробку мятных леденцов в шоколаде. Д-р Гаген, добравшийся пешком, триумфально потрясал бутылкой водки.

– Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, – сказал добродушный Гаген.

– Доктор Гаген, – сказал Томас, пожимая ему руку, – надеюсь, г-н сенатор не видел, как вы расхаживаете с этой бутылкой по городу[44].

Бравый доктор заметно постарел за последний год, но, как всегда, выглядел крепким и несколько квадратным из-за своих сильно подбитых плеч, квадратного подбородка, квадратных ноздрей, львиной переносицы и прямоугольной копны волос с проседью, чем-то напоминавших подстриженную купу дерева. На нем был черный костюм, белая нейлоновая рубашка и черный галстук в красных молниях. К сожалению, у г-жи Гаген в самую последнюю минуту разыгралась ужасная мигрень и она не могла прийти.

Пнин принес коктейли, «или, лучше сказать, – фламинго-тэйли[45], специально для орнитологов», сострил он с лукавой улыбкой.

– Благодарю вас, – пропела г-жа Тэер, принимая свой стакан и поднимая выщипанные в нитку брови, с той радушной жеманно-вопросительной интонацией, которая должна была означать смесь удивления, признательности за незаслуженное внимание и удовольствия. Привлекательная, чопорная, розовощекая дама лет сорока, с жемчужными искусственными зубами и волнистыми позлащенными волосами, она была кузиной-провинциалкой элегантно, непринужденно державшейся Джоаны Клементс, которая изъездила весь мир, жила даже в Турции и Египте и была замужем за самым оригинальным и самым непопулярным профессором Вэйндельского университета. Тут следует помянуть добрым словом и мужа Маргариты Тэер, Роя, унылого и неразговорчивого преподавателя английской кафедры, которая за вычетом ее кипучего заведующего Коккереля была прибежищем ипохондриков. Внешность у Роя была вполне заурядная. Если нарисовать пару старых желтых туфель, две заплатки из бежевой кожи на локтях[46], черную трубку и два набрякших глаза под тяжелыми бровями, то прочее легко будет заполнить. Где-то посередке маячила какая-то редкая болезнь печени, а где-то на заднем плане была поэзия восемнадцатого века, отъезжее поле Роя – сильно общипанный выгон с еле слышным ручьем и с островком деревьев с вырезанными на стволах инициалами; это поле по обе стороны отгорожено было колючей проволокой от владений профессора Стоу (предыдущее столетие), где ягнята были побелей, дерн помягче, ручей говорливей, и от начала девятнадцатого века д-ра Шапиро, с дымкой в лощинах, морскими туманами и заморским виноградом. Рой Тэер, избежавший говорить о своем предмете, и вообще избежавший разговоров о

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
каком бы то ни было предмете потратил десять лет однообразной жизни на ученый труд о забытой группе никому не интересных рифмоплетов и вел подробный зашифрованный дневник в стихах, который, как он надеялся, когда-нибудь смогут разобрать потомки и по трезвом размышлении, задним числом объявят его величайшим литературным достижением нашего времени, – и почему знать, Рой Тэер, вы можете быть окажетесь правы.

Когда все принялись уютно потягивать да похваливать коктейли, профессор Пнин присел на охнувший пуф подле своего нового друга и сказал:

– Я имею доложить вам, сударь, об этих скайларках, а по-русски – жаворонках, о которых вы изволили спрашивать меня. Вот возьмите это с собой домой. Я тут отстукал на пишущей машине краткое резюме с библиографией. Я думаю, мы теперь перейдем в другую комнату, где нас, кажется, ждет ужин à la fourchette.

8

Вскоре гости с полными тарелками снова переместились в гостиную. Явился пунш.

– Ба, Тимофей, откуда у вас эта просто божественная чаша! – воскликнула Джоана.

– Мне подарил ее Виктор.

– Но он-то где же нашел ее?

– В антикварном магазине в Крантоне, наверное.

– Да ведь она, должно быть, стоит кучу денег.

– Один доллар? Десять долларов? Меньше, быть может?

– Десять долларов – вздор какой! Две сотни, я бы сказала. Да вы взгляните на нее как следует! Взгляните на этот выющийся узор. Знаете что, вам нужно показать ее Коккерелям. Они знают толк в старинном стекле. У них есть Дунморский кувшин, но он кажется бедным родственником этой чаши.

Маргарита Тэер в свою очередь полюбовалась чашей и сказала, что в детстве ей казалось, что стеклянные башмачки Золушки именно этого зеленовато-синего оттенка, на что профессор Пнин заметил, что, *primo*, он хотел бы, чтобы каждый сказал, так же ли хорошо содержимое сосуда, как и содержащий его сосуд, и что, *secundo*, башмачки Сандрильоны сделаны не из стекла, а из меха русской белки – *vaîr* по-французски. Это, сказал он, типичный пример выживания более жизнеспособного слова, ибо *verre*[47] лучше запоминается, чем *vaîr*, которое, по его мнению, происходит не от *varius*, пестрый, а от веверицы, славянского слова, означающего красивый, бледный мех, как у белки зимой, с голубоватым, или, лучше сказать, сизым, колумбиновым оттенком – от латинского *columba*, голубь, как кое-кому здесь должно быть хорошо известно – так что, как видите, госпожа Файр, вы были, в сущности, правы.

– Содержимое превосходно, – сказал Лоренс Клементс.

– Этот напиток просто упоителен, – сказала Маргарита Тэер.

(«Я всегда полагал, что „колумбина“ – это какой-то цветок», – сказал Томас Бетти, и та не задумываясь согласилась.)

Затем стали сопоставлять возраст нескольких детей присутствовавших. Виктору скоро пятнадцать. Айлине, внучке старшей сестры г-жи Тэер, было пять. Изабелле было двадцать три, и ей очень нравилась ее секретарская должность в Нью-Йорке. Дочери д-ра Гагена было двадцать четыре года, и она должна была вот-вот вернуться из Европы, где великолепно провела лето, разъезжая по Баварии и Швейцарии с очень милой старой дамой, Дорианной Карен, знаменитой фильмовой звездой двадцатых годов.

Раздался телефон. Кому-то нужно было поговорить с г-жой Шеппард. С совершенно необычной для него в таких случаях обстоятельностью непредсказуемый Пнин не только отрапортовал ее новый адрес и номер телефона, но еще и присовокупил те же сведения о ее старшем сыне.

9

К десяти часам, благодаря пнинскому пуншу и беттиному скотчу, иные из гостей заговорили громче, чем это им казалось. Карминовый румянец залил одну сторону шеи г-жи Тэер под синей звездочкой ее левой серьги, и, сидя очень прямо, она угостила своего хозяина повествованием о распре между двумя ее коллегами по библиотеке. То была зауряднейшая конторская история, но перепады ее голоса от барышни Пищалкиной к г-ну Басову и потом сознание того, что вечер удался, заставляли Пнина восторженно хохотать в ладошку, наклонив голову. Рой Тэер слабо подмигивал самому себе, глядя в пунш вдоль своего серого пористого носа, и вежливо внимал Джоане Клементс, которая, когда бывала немного навеселе, как сегодня, имела прелестную привычку быстро-быстро моргать или даже вовсе прикрывать свои отороченные черными ресницами синие глаза и прерывать течение фразы (чтобы отделить придаточную или заново разогнаться) глубокими добавочными придыханиями: «Но не кажется ли вам – хох – что он – хох – практически во всех своих романах – хох – пытается – хох – показать причудливое повторение некоторых положений?» Бетти сохраняла присутствие своего небольшого духа и умело следила за распределением съестного. В нише Клементс мрачно вращал медлительный глобус, между тем как Гаген, тщательно избегая некоторых традиционных интонаций, к которым прибег бы в более интимной компании, рассказывал ему и ухмыляющемуся Томасу свежую историю про г-жу Идельсон, поведенную г-жой Блорендж г-же Гаген. Пнин подошел к ним с тарелкой нуги.

– Это не вполне годится для ваших целомудренных ушей, Тимофей, – сказал Гаген Пнину, который всегда говорил, что не в состоянии понять пуанты «скабранных анекдотов», – но все-таки —

Клементс отошел и присоединился к дамам. Гаген начал заново рассказывать свою историю, а Томас – заново ухмыляться. Пнин, поморщившись, махнул рукой на рассказчика русским жестом со значением «полно вам, право» и сказал:

– Я слышал этот же самый анекдот тридцать пять лет тому назад в Одессе и даже тогда не мог понять, что тут смешного.

10

В еще более поздней стадии вечера опять произошли некоторые перемещения. На тахте в углу скучавший Клементс листал альбом «фламандских шедевров», подаренный Виктору его матерью и оставленный им у Пнина. Джоана сидела на низкой скамеечке у колена своего мужа с тарелкой винограда в подоле широкой юбки, прикидывая, когда можно будет уйти, не огорчив тем Тимофея. Остальные слушали Гагена, рассуждавшего о современном образовании.

– Вы можете смеяться, – сказал он, бросая колкий взгляд на Клементса, который покачал головой, отводя это обвинение, после чего передал альбом Джоане, показывая ей, что именно вызвало у него радостную улыбку. – Можете смеяться, но я утверждаю, что единственный способ выбраться из трясины, в которой мы погрязли, – одну каплю, Тимофей, довольно – это запереть студента в звуконепропускаемой камере и упразднить лекционный зал.

– Да, это то самое, – тихонько сказала Джоана мужу, возвращая ему альбом.

– Я рад, что вы согласны со мной, Джоана, – продолжал Гаген. – Тем не менее меня называют *enfant terrible* за то, что я проповедую этот взгляд, и, может быть, вы не так легко согласитесь со мной, когда дослушаете до конца. В распоряжении изолированного студента будут грампластинки по любым предметам —

– Да, но как же индивидуальность лектора? – сказала Маргарита Тэер. – Она ведь тоже что-то значит.

– Ничего! – крикнул Гаген. – Вот в чем трагедия! Кому, например, нужен он, – он указал на сияющего Пнина, – кому нужна его индивидуальность? Никому! Они без колебаний откажутся от великолепной индивидуальности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей.

– Можно было бы показывать Тимофея по телевизору, – сказал Клементс.

– Вот было бы мило! – сказала Джоана, озаряя улыбкой своего хозяина, а Бетти энергично закивала. Пнин низко поклонился им, разводя руками со значением «обезоружен».

– Ну а вы что думаете о моем бунтарском проекте? – спросил Гаген у Томаса.

– Я скажу вам, что думает Том, – сказал Клементс, разглядывая все ту же репродукцию в раскрытой у него на коленях книге. – Том думает, что лучший метод преподавания чего бы то ни было – это устраивать в классе обсуждения, то есть позволять двум десяткам юных оболтусов и паре нахальных неврастеников обсуждать в продолжение пятидесяти минут нечто, о чем ни они, ни преподаватель понятия не имеют. Я вот уже три месяца, – продолжал он без всякого логического перехода, – ищу эту картину, и вот нашел. Издатель моей новой книги о философии жеста просил у меня мой портрет, а мы с Джоаной знали, что у какого-то старого мастера мы видели чрезвычайно на меня похожий, но не могли припомнить даже его эпоху. А он вот где, прошу. Единственно, что тут нужно подправить, это добавить спортивную рубашку и убрать руку этого воина.

– Я решительно протестую, – начал было Томас.

Клементс передал раскрытую книгу Маргарите Тээр, и та приснула.

– Я протестую, Лоренс, – сказал Том. – Непринужденная дискуссия в атмосфере широких обобщений есть более трезвый подход к проблеме образования, чем старомодная формальная лекция.

– Да-да, конечно, – сказал Клементс.

Джоана с трудом приподнялась и прикрыла свой стакан узкой ладонью, когда Пнин предложил снова его наполнить. Г-жа Тээр посмотрела на свои часики и потом на мужа. Мягкий зевок растянул рот Лоренса. Бетти спросила Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман, специалиста по летучим мышам, который живет в кубинской Санта-Кларе. Гаген попросил стакан воды или пива. «Кого он мне напоминает? – вдруг подумал Пнин. – Эриха Винда? Но отчего? Ведь никакого внешнего сходства между ними нет».

11

Место действия заключительной сцены – передняя. Гаген не мог отыскать трости, с которой пришел (она завалилась за сундук в чулане).

– А я, кажется, оставила свою сумочку где сидела, – сказала г-жа Тээр, легонько подталкивая своего задумчивого мужа в направлении гостиной.

Пнин и Клементс, разговорившиеся в последнюю минуту, стояли по обе стороны двери в гостиную, как две раскормленные кариатиды, и втянули животы, пропуская молчаливого Тэера. В середине комнаты стояли профессор Томас и мисс Блисс – он, заложив руки за спину и то и дело подымаясь на носки, она – с подносом в руках, и говорили о Кубе, где, как ей казалось, довольно долго жил двоюродный брат ее жениха. Тээр неуверенно переходил от кресла к креслу и обнаружил у себя в руках белую сумку, абсолютно не зная, где он ее подобрал, потому что голова его была занята пока еще смутным предчувствием строк, которые ему предстояло записать позднее этой ночью:

Сидели, пили; всяк в себе таил прошедшее, и каждому судьбой на свой особый час будильник был поставлен. Кисть взметнулась; муж с женой переглянулись...

Тем временем Пнин спросил Джоану Клементс и Маргариту Тээр, не хотят ли они взглянуть, как он устроил верхние комнаты. Эта мысль привела их в восторг. Он повел их. Его так называемая «студия» выглядела теперь очень уютно: исцарапанный пол ее был аккуратно покрыт более или менее пакистанским ковром, который он когда-то приобрел для своего служебного кабинета, а недавно молча и решительно выдернул из-под ног изумленного фальтернфельса. Клетчатый плэд, под которым Пнин пересек океан, покинув Европу в 1940-м году, и местного происхождения подушки кое-как маскировали неустранимую кровать. Розовые полки, на которых он нашел несколько поколений детских книг – от «Тома – чистильщика сапог, или Пути к успеху» Горация Алджера (1889) и «Рольфа в лесах» Эрнеста Томсона Ситона (1911) до «Комптоновской иллюстрированной энциклопедии» издания 1928-го года, в десяти томах, с расплывчатыми маленькими фотографиями, – теперь были нагружены тремястами шестьдесятю пятью томами из библиотеки Вэиндельского университета.

– Как подумаешь, что я их все проштемпелевала, – вздохнула госпожа Тээр,

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
закатывая глаза с притворным ужасом.

– Некоторые из них выдавала госпожа Миллер, – сказал Пнин, убежденный сторонник исторической правды.

В спальне посетительниц более всего поразила большая складная ширма, защищавшая двуспальную кровать с четырьмя колонками по углам от проницательных сквозняков, а также вид из ряда маленьких окошек: темная скальная стена, в восьми саженях от окна отвесно уходившая ввысь, с полоской бледного звездного неба над черной растительностью на ее гребне. На задней лужайке Лоренс шагнул в тень, пересекши отражение окна.

– Наконец-то вы в самом деле удобно устроились, – сказала Джоана.

– А знаете, что я вам сейчас скажу, – отвечал Пнин конфиденциальным тоном с ноткой торжества, зазвеневшей в его голосе. – Завтра утром, под покровом тайны, я увижусь с господином, который хочет помочь мне купить этот дом!

Они снова сошли вниз. Рой вручил жене сумку Бетти. Герман нашел свою палку. Маргаритину сумку все еще разыскивали. Снова появился Лоренс.

– До свиданья, до свиданья, профессор Войнич! – пропел Пнин, и его щеки казались румяными и круглыми под фонарем крыльца.

(Бетти и Маргарита Тэер, все еще стоя в передней, любовались тростью польщенного д-ра Гагена, которую ему недавно прислали из Германии, – узловатой дубиной с набалдашником в виде ослиной головы. Голова эта могла шевелить одним ухом. Трость раньше принадлежала баварскому деду д-ра Гагена, сельскому пастору. Механизм другого уха сломался еще в 1914-м году, согласно оставленной пастором записке. Гаген брал ее, по его словам, для защиты от немецкой овчарки в Зеленом переулке. Собаки в Америке не привыкли к пешеходам. Он же всегда охотнее ходит пешком, чем ездит. Нет, ухо починить нельзя. По крайней мере, в Вэйнде.)

– Почему он меня так назвал, хотел бы я знать, – сказал Д. В. Томас, профессор антропологии, Лоренсу и Джоане Клементс, пока они брели сквозь синюю тьму к четверем автомобилям, оставленным под ильмами на другой стороне дороги.

– Наш друг, – отвечал Клементс, – пользуется собственной номенклатурой. Его словесные причуды придают жизни новый трепет. Ошибки его произношения мифотворны. Его обмолвки – обмолвки оракула. Мую жену он зовет «Джон».

– Все же это как-то странно, – сказал Томас.

– Вероятно, он принял вас за кого-то другого, – сказал Клементс. – И как знать, может быть, вы и в самом деле кто-то другой.

Не успели они перейти на другую сторону улицы, как их догнал д-р Гаген. Все еще недоумевая, профессор Томас простился с ними.

– М-да, – сказал Гаген.

Стояла ясная осенняя ночь, снизу бархатная, наверху стальная.

Джоана спросила:

– Вы в самом деле не хотите, чтобы мы вас подвезли?

– Тут мне десять минут ходьбы. А в такую великолепную ночь пройтись пешком просто необходимо.

Втроем они постояли с минуту, глядя на звезды.

– И все это миры, – сказал Гаген.

– Или, – сказал Клементс, зевая, – страшный ералаш. Я подозреваю, что на самом деле это флуоресцирующий труп, а мы сидим внутри него.

С освещенного крыльца донесся сочный смех Пнина, кончившего подробно

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
рассказывать Тэерам и Бетти Блисс о том, как он сам однажды возвратил владелице чужой ридикюль.

– Идем же, мой флуоресцирующий труп, пора ехать, – сказала Джоана. – Очень рады были повидать вас, Герман. Передайте привет Ирмгарде. Какая чудесная вечеринка! Никогда я не видела Тимофея таким счастливым.

– Да, благодарю, – рассеянно откликнулся Гаген.

– Надо было видеть его лицо, – сказала Джоана, – когда он сказал нам, что завтра собирается говорить с агентом о покупке этого сказочного дома.

– В самом деле? Вы уверены – он так и сказал? – резко спросил Гаген.

– Именно так, – сказала Джоана. – И уж, конечно, никто так не нуждается в собственном доме, как Тимофей.

– Что ж, покойной ночи, – сказал Гаген, – Рад, что вы пришли. Покойной ночи.

Он подождал, пока они дойдут до своего автомобиля, поколебался и зашагал назад к освещенному крыльцу, где, стоя как на сцене, Пнин во второй или третий раз принимался пожимать руки Тэерам и Бетти.

(«Никогда бы, – сказала Джоана, пята машину и вращая руль, – никогда бы я не позволила своей дочери поехать за границу с этой старой лесбиянкой». – «Тише, – сказал Лоренс, – хоть он и пьян, но может еще тебя услышать».)

– Я вам не прощу, – говорила Бетти своему хозяину, который был чуть-чуть навеселе, – что вы не дали мне вымыть посуду.

– Я помогу ему, – сказал Гаген, всходя по ступеням крыльца и стучая по ним палкой. – А вы, детки, ступайте, ступайте.

Еще один, последний круг рукопожатий, и Тэеры с Бетти ушли.

12

– Прежде всего, – сказал Гаген, когда они с Пниным вернулись в гостиную, – я бы, пожалуй, выпил с вами еще стаканчик вина.

– Отлично, отлично! – вскричал Пнин. – Мы допьем мой крюшон.

Они удобно уселись, и д-р Гаген сказал:

– Вы великолепный хозяин, Тимофей. Это приятнейшая минута. Мой дедушка говаривал, что стакан хорошего вина всегда следует растягивать и смаковать, как если бы он был последним перед казнью. Хотел бы я знать, что вы добавляете в этот пунш. Я хотел бы также знать, правда ли, как утверждает наша милейшая Джоана, что вы собираетесь приобрести этот дом?

– Не собираюсь, а просто подглядываю исподтишка такую возможность, – ответил Пнин с журчащим смешком.

– Не уверен, что это было бы благоразумно, – продолжал Гаген, обхватив ладонями стакан.

– Конечно, я надеюсь, что получу наконец штатное место, – сказал Пнин не без лукавинки. – Я теперь ассистент профессора вот уже девять лет. Годы бегут. Скоро я буду заслуженный ассистент в отставке. Отчего вы молчите, Гаген?

– Вы ставите меня в крайне затруднительное положение, Тимофей. Я надеялся, что вы не станете поднимать этого вопроса.

– Я и не поднимаю вопроса. Я просто говорю, что я рассчитываю, – о, не в будущем году, но, скажем, к сотой годовщине освобождения крепостных, – что Вэйндель сделает меня адъюнктом.

– Да, но, видите ли, мой дорогой друг, я должен открыть вам печальный секрет. Это покамест неофициально, и вы должны пообещать мне никому не говорить об этом.

– Клянусь, – сказал Пнин, подняв руку.

– Вы не можете не знать, – продолжал Гаген, – с какой любовью и заботой я создавал нашу великолепную кафедру. Я тоже уже не молод. Вы говорите, Тимофей, что вы здесь уже девять лет. А я отдавал этому университету все, что было в моих силах, в продолжение двадцати девяти лет! Все, что было в моих скромных силах. Как написал мне на днях мой друг д-р Крафт – вы, Герман Гаген, один сделали в Америке для Германии больше, чем все наши миссии в Германии сделали для Америки. А что получается теперь? Я пригнул на своей груди этого Фальтернфельса, эту змею, а теперь он пролез на главные роли. Я не буду пересказывать вам все подробности этих козней!

– Да, – сказал Пнин со вздохом, – кознь ужасная вещь, ужасная. Но, с другой стороны, честный труд всегда докажет свою ценность. В будущем году мы с вами будем читать превосходные новые курсы, которые я давно задумал. О Тирании. О Сапозе. О Николае Первом. О всех предшественниках современных злодеев. Когда мы говорим о несправедливости, Гаген, мы забываем об избиениях армян, о пытках, изобретенных в Тибете, о колонистах в Африке... История человечества – это история безчеловечных страданий!

Гаген нагнулся к своему другу и похлопал его по костлявому колену.

– Вы великолепный романтик, Тимофей, и в более счастливых обстоятельствах... Однако могу сообщить вам, что в весеннем семестре мы и в самом деле устроим нечто необычное. Мы намерены затеять «драматическую программу» – ставить сцены из разных пьес, от Коцебу до Гауптмана. Я рассматриваю это как своего рода апофеоз... Но не будем забегать вперед. Я тоже романтик, Тимофей, и потому не могу работать с такими людьми, как Бодо, как этого хочет от меня опекунский совет[48]. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне предложено со следующей осени занять его место.

– Поздравляю вас, – тепло сказал Пнин.

– Благодарю, друг мой. Да, это очень хорошая и высокая должность. Я смогу применить безценный опыт, который я приобрел здесь, на более обширном поле научной и административной деятельности. Я, разумеется, знал, что Бодо не оставит вас при немецкой кафедре, и мой первый ход был предложить им взять и вас, но они сказали, что у них в Сиборде и без того уже довольно славистов. Тогда я переговорил с Блоренджем, но наше французское отделение тоже переполнено. Это скверно, ибо вейндельская администрация чувствует, что платить вам за два или три курса русского языка, которые перестали привлекать студентов, было бы слишком тяжелым финансовым бременем. Политическое положение в Америке, как всем нам известно, не поощряет интереса к русским студиям. С другой же стороны, вам приятно будет узнать, что английская кафедра приглашает одного из самых блестящих ваших соотечественников, действительно увлекательного лектора – я слышал его как-то раз; кажется, он ваш старый друг.

Пнин прочистил горло и спросил:

– Это означает, что меня выгонят?

– Ну-ну, не будем чересчур огорчаться, Тимофей. Я уверен, что ваш старый друг –

– Кто этот старый друг? – спросил Пнин, сузив глаза.

Гаген назвал фамилию увлекательного лектора.

Поджавшись вперед, опершись локтями о колени, сжимая и разжимая руки, Пнин сказал:

– Да, я знаю его тридцать лет или больше того. Да, мы друзья, но одно я знаю наверное. Я никогда не буду работать под его началом.

– Ну, утро вечера мудренее. Может быть, какой-нибудь выход и отыщется. Во всяком случае, у нас еще будет много возможностей все это обсудить. Мы с вами будем продолжать работать, как будто ничего не случилось, nicht wahr? Больше мужества, Тимофей!

– Значит, меня выгнали, – сказал Пнин, сцепляя пальцы и покачивая головой.

– Да, мы с вами оказались в одинаковом положении, в одинаковом... – сказал жовиальный Гаген, поднимаясь. Было уже очень поздно.

– Я иду теперь, – сказал Гаген, который хотя и не был таким приверженцем настоящего времени, как Пнин, но все же оказывал ему предпочтение. – Это был великолепный вечер, и я никогда не позволил бы себе отравить вам радость, если бы наш общий друг не уведомила меня о ваших оптимистических планах. Покойной ночи. Да, кстати... Вы, разумеется, полностью получите свое жалование за осенний семестр, а там посмотрим, сколько можно будет раздобыть для вас в весеннем, особенно если вы согласитесь снять с моих бедных старых плеч часть дурацкой канцелярской рутины, и потом если вы примете деятельное участие в драматической программе в Новом Холле. Я даже думаю, что вы должны играть в спектаклях под руководством моей дочери; это отвлечет вас от печальных мыслей. Теперь сразу ложитесь и усypите себя хорошей детективной историей.

На крыльце он потряс неотзывчивую руку Пнина с энергией, которой хватило бы на двоих. Затем он помахал тростью и весело сошел по деревянным ступеням.

Позади гулко хлопнула самозахлопывающаяся дверь, затянута сеткой от комаров.

– Der Arme Kerl! [49] – бормотал про себя добросердечный Гаген по дороге домой. – Но по крайней мере я подсластил ему пилюлю.

13

Пнин отнес в кухонную раковину грязную посуду и серебро с буфета и со стола в столовой. Убрал оставшуюся снедь в освещенный ярким арктическим сиянием ледник. Ветчина и язык, как и маленькие сосиски, были съедены дочиста, но винегрет успеха не имел, а икры и пирожков с мясом осталось и на завтрак, и на обед. «Бум-бум-бум», – сказал посудный шкап, когда он проходил мимо. Он оглядел гостиную и начал приводить ее в порядок. В красавице чаше блестела последняя капля пнинского пунша. Джоана сплющила в своем блюдце запачканный помадой окурок. Бетти не оставила после себя никаких следов и успела отнести все стаканы на кухню. Г-жа Тээр забыла на тарелке, рядом с кусочком нуги, книжечку красивых разноцветных спичек. Г-н Тээр прихотливейшим образом сложил полдюжины бумажных салфеток; Гаген потушил намокшую и растрепанную сигару о нетронутую кисточку винограда.

На кухне Пнин приготовился мыть посуду. Он снял шолковую куртку, галстук и зубы. Чтобы не намочить рубашки и смокинговых штанов, он надел пестренький субреточный передник. Соскреб с тарелок разные лакомые объедки в коричневый бумажный мешок для паршивой белой собачонки с розовыми пятнами на спине, которая иногда навещала его под вечер, – человечьи невзгоды не причина лишать собаку радости.

Он приготовил в раковине мыльную ванну для посуды, рюмок и столового серебра и с всемерной осторожностью опустил в теплую пену аквамариную чашу. Когда она полностью погрузилась, ее звонкий флинтглас отозвался пригашенным, но густым тоном. Он прополоскал под краном янтарные бокалы и серебро и утопил их в той же пене. Потом он выудил ножи, вилки и ложки, сполоснул их и начал вытирать. Он работал очень медленно, с каким-то отрешенным видом, который в человеке менее методическом можно было бы принять за дымку рассеяния. Собрал вытертые ложки в букет, положил их в кувшин, который вымыл, но не вытер, а потом стал доставать их оттуда по одной и заново перетирать. Пошарил под пеной, вокруг бокалов и под мелодичной чашей, – не осталось ли еще серебра, – и вытащил оттуда щипцы для орехов. Дотошный Пнин вымыл и их и уже принялся было вытирать, когда эта голенастая штукави́на каким-то образом выскользнула из полотенца и упала, как человек с крыши. Он почти поймал ее в полете – даже коснулся ее кончиками пальцев; но это только ускорило ее паденье в хранившую безценное сокровище пену раковины, откуда тотчас донесся непереносимый хряск разбитого стекла.

Пнин швырнул полотенце в угол и, отвернувшись, постоял с минуту, уставившись в черноту за порогом распахнутой двери. Безшумное маленькое зеленое насекомое с кружевными крылышками кружило в слепящем свете сильной голой лампочки над глянцеви́той лысой головой Пнина. Он казался теперь очень старым; его беззубый рот был полуоткрыт, и пустой, немигающий взгляд туманился под пеленой слез. Потом со стоном мучительного предвкушения он вернулся к раковине и, собравшись с

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
духом, глубоко окунул руку в пену. Уколотся об осколок. Осторожно извлек разбитый бокал. Чудесная чаша была невредима. Он взял свежее полотенце и снова принялся за дело.

Когда все было перемыто и перетерто, и чаша равнодушно и невозмутимо стояла на самой надежной полке посудного шкапа, и маленький ярко освещенный дом был наглухо замкнут внутри огромной черной ночи, Пнин сел за кухонный стол, достал из его ящика лист желтой дешевой бумаги, снял колпачок с автоматического пера и начал сочинять черновик письма.

«Дорогой Гаген, – писал он своим ясным, твердым почерком, – позвольте мне мизери... (зачеркнуто) резюмировать наш разговор. Я должен признаться, что он меня несколько ошеломил. Если я имел честь правильно вас понять, вы сказали, что —»

Глава седьмая

1

Мое первое воспоминание о Тимофее Пнине связано с угольком, попавшим мне в левый глаз как-то в воскресенье весной 1911-го года.

Это было одно из тех порывистых, ветреных, ярких петербургских утр, когда Нева уже унесла в залив последнюю прозрачную ладожскую льдину и ее кубовые волны вздымаются и лижут гранит набережных, а буксиры и тяжелые баржи, зашвартованные вдоль берегов, мерно скрипят и трутся друг об дружку и паровые яхты на якоре сияют красным деревом и медью в лучах своенравного солнца. Я обкатывал чудесный новый английский велосипед, подаренный мне на мой двенадцатый день рождения, и когда я ехал обратно к нашему розовокаменному дому на Морской по гладкой, как паркет, деревянной панели, я был не столько озабочен тем, что дерзко ослушался своего гувернера, сколько этим зернышком жгучей боли на дальнем севере моего глазного яблока. Домашние средства вроде прикладыванья пропитанной холодным чаем ваты и способа «три к носу» только усугубили положение, и когда я проснулся на другое утро, крупинка, угнездившаяся у меня под верхним веком, ощущалась уже плотным многогранником, внедрявшимся все глубже при каждом слезоточивом моргании. Под вечер меня повезли к лучшему окулисту д-ру Павлу Пнину.

То время, что мы с гувернером провели в освещенной пыльными лучами плюшевой приемной д-ра Пнина, где синее пятно окна в миниатюре отражалось в стеклянном колпаке позолоченных бронзовых часов на камине и две мухи все описывали неторопливые прямоугольники вокруг безжизненной люстры, запомнилось благодаря одному глупому инциденту из числа тех, что навсегда сохраняются в восприимчивом детском сознании. На диване в супружеском молчании сидели дама в шляпе с перьями и ее муж в темных очках; затем вошел кавалерийский офицер и сел у окна с газетой; затем муж удалился в кабинет д-ра Пнина, а затем я подметил странное выражение на лице моего гувернера.

Здоровым глазом я проследил за его взглядом. Офицер наклонился к даме. Он быстро по-французски корил ее за что-то, что она сделала или не сделала днем раньше. Она дала ему поцеловать свою руку, обтянутую перчаткой. Он приник к круглой выемке в перчатке и тотчас ушел, разом исцелившись от своего неведомого недуга.

Мягкостью черт, крупным сложением, худобою ног, обезьяньим строением уха и надгубья д-р Павел Пнин очень напоминал Тимофея, каким тот стал лет через тридцать-сорок. У отца, однако, опушка соломенного цвета волос оживляла восковую плешь; он носил пенснэ в черной оправе на черной же тесемке, как покойный д-р Чехов; он говорил слегка запинаясь и совсем не так, как впоследствии говорил его сын. И какое это было райское облегчение, когда этот милый доктор крошечным инструментом, напоминавшим барабанную палочку эльфа, извлек из моего глаза терзавший его черный атом! Интересно, где теперь этот уголек? Скучная, безумная мысль, но ведь где-нибудь он да есть.

Я, может быть, оттого безотчетно удержал в памяти довольно правдоподобный образ пнинской квартиры, что, посещая своих школьных товарищей, я перевидал множество разных квартир средней руки. Так что могу доложить, что скорей всего она состояла из двух рядов комнат, разделенных длинным коридором; по одной стороне шли приемная, кабинет доктора, а дальше, вероятно, столовая и гостиная; а по другой стороне две или три спальни, классная, ванная, комната прислуги и кухня. Я уж собрался уходить с флаконом глазной примочки, а мой гувернер, воспользовавшись случаем, спрашивал д-ра Пнина, не может ли переутомление глаз быть причиной расстройства пищеварения, когда входная дверь отворилась и

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
захлопнулась. Д-р Пнин проворно вышел в коридор, что-то спросил, получил тихий ответ и вернулся со своим сыном Тимофеем, тринадцатилетним гимназистом в гимназической форме: черная блуза, черные штаны, блестящий черный ремень (я учился в более либеральной школе, где мы носили что хотели).

Неужто я в самом деле помню ежик его волос, его одутловатое бледное лицо, его красные уши? Да, и притом отчетливо. Я даже помню, как он незаметно высвободил плечо из-под гордой отцовской руки, меж тем как тот говорил гордым отеческим тоном: «Сей юноша только что получил пять с плюсом на экзамене из алгебры». Из глубины коридора доносился стойкий запах пирога с капустой, а сквозь отпахнутую дверь классной мне видны были карта России, висевшая на стене, полка с книгами, чучело белки и игрушечный моноплан с холщевыми крыльями и резиновым мотором. У меня имелся точно такой же, только вдвое больше, купленный в Биаррице. Если долго накручивать пропеллер, резина начинала наматываться уже не так, как вначале, и укладывалась в интересные толстые завой, предвещавшие скорый конец растяжению.

2

Пятью годами позже, проведя начало лета в нашем петербургском имении, я с матерью и младшим братом гостил у скучной старой тетки в ее на удивление запущенной усадьбе неподалеку от знаменитого курорта на балтийском взморье. Как-то под вечер, когда я с сосредоточенным восторгом расправлял грудкой кверху исключительно редкую аберрацию большой перламутровки, у которой серебристые полоски, украшавшие испод задних крыльев, сливались в ровное поле металлического блеска, пришел лакей с докладом, что старая барыня хочет меня видеть. Когда я вошел в залу, она разговаривала с двумя смущенными молодыми людьми в университетских мундирах. Один, со светлым пушком, был Тимофей Пнин, другой, с рыжеватым пухом, был Григорий Белочкин. Они пришли просить у моей тетки позволения воспользоваться пустой ригой на границе ее владений для устройства там спектакля. То был русский перевод «Liebeleï», трехактной пьесы Артура Шницлера. Спектакль помогал ставить на скорую руку Анчаров, провинциальный полупрофессиональный актер, репутация которого зиждилась, главным образом, на пожелтевших газетных вырезках. Так не желаю ли я участвовать? Но в шестнадцать лет я был столь же высокомерен, сколь застенчив, и потому отказался играть безыменного Господина из первого акта. Беседа кончилась тем, что мы все трое сконфузились, тем более что не то Пнин, не то Белочкин опрокинул стакан грушевого кваса, – и я вернулся к своей бабочке. Недели через две меня каким-то образом уговорили пойти на представление. Рига была полна дачников и инвалидов из ближнего лазарета. Я пришел с братом, а рядом со мною сидел управляющий тетушкиным имением Роберт Карлович Горн, добродушный толстяк-рижанин с налитыми кровью, фарфорово-голубыми глазами, все время шумно, но некстати аплодировавший. Помню запах декоративных еловых веток и глаза крестьянских детей, блестевшие сквозь щели в стенах. Передние стулья стояли так близко к рампе, что когда обманутый муж извлек пачку любовных писем, написанных к его жене фрицем Лобгеймером, драгуном и студентом университета, и бросил их фрицу в лицо, было ясно видно, что это старые открытки с отрезанными наискось марками. Я вполне убежден, что маленькую роль этого разгневанного Господина играл Тимофей Пнин (впрочем, не исключено, что в следующих актах он появлялся и в других ролях); но желтое кожаное пальто, пушистые усы и темный парик с прямым пробором так основательно преобразили его, что, так как самое его существование тогда чрезвычайно мало интересовало меня, мне нечем подкрепить эту мою уверенность. Фриц, молодой любовник, обреченный погибнуть на поединке, не только имел таинственную закулисную связь с Дамой в черном бархатном платье, женой Господина, но к тому же заигрывал с Христиной, неискушенной венской девушкой. Фрица играл коренастый сорокалетний Анчаров, на котором был кротового цвета грим; он бил себя в грудь, как будто выбивал ковер, и своей неожиданной отсебятиной – выучить роль он не удосужился – приводил в остолбенение приятеля фрица Теодора Кайзера (Григория Белочкина). Одна состоятельная старая дева, которую Анчаров в действительной жизни обхаживал, взяла совсем не подходившую ей роль Христины Вейринг, дочери скрипача. Роль модисточки, возлюбленной Теодора Мици Шлагер, прелестно сыграла красивая, с тонкой шеей и бархатными глазами девушка, сестра Белочкина, которую в тот вечер наградили самыми громкими рукоплесканиями.

3

Весьма маловероятно, чтобы в продолжение революционных лет и последовавшей гражданской войны я имел случай вспомнить о д-ре Пнине и его сыне. Да и теперь я восстановил с некоторыми подробностями предыдущие мои впечатления только для

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
того, чтобы закрепить то, что мельком пришло мне на память, когда я апрельским вечером в начале двадцатых годов в парижской кофейне пожимал руку русобородого, с детским выражением в глазах Тимофея Пнина, молодого эрудированного автора нескольких замечательных статей по русской культуре. У эмигрантов писателей и художников было заведено собираться в «Трех фонтанах» после публичных выступлений или лекций, очень часто устраивавшихся в среде русских апатридов; и вот при одной такой okazji я, еще охрипший от чтения, пытался не только напомнить Пнину наши прошлые встречи, но и позабавить его и окружающих нас людей необычайной ясностью и силой моей памяти. Он, однако, все отрицал. Он сказал, что смутно припоминает мою тетку, меня же никогда не встречал. Сказал, что всегда получал низкие баллы по алгебре и что во всяком случае отец никогда не демонстрировал его своим пациентам; сказал, что в «Забаве» («Liebeleie») он играл только роль отца Христины. Повторил, что мы никогда прежде друг друга не видали. Наша короткая перепалка была всего лишь добродушный обмен шутливыми репликами, и все смеялись; и заметив, как неохотно он говорит о своем прошлом, я перешел на другую, менее личную тему.

Скоро я обратил внимание на то, что поразительной наружности молодая особа в черном шелковом свэтере, с золотой лентой вокруг каштановых волос, сделала главную моей слушательницей. Она стояла прямо передо мной, и ее правый локоть покоился на левой ладони, а в правой руке она держала папиросу как цыганка, между большим и указательным пальцами, и папиросный дым струился вверх; ее яркие синие глаза были из-за дыма полуприкрыты. Это была Лиза Боголепова, студентка-медичка, которая к тому же писала стихи. Она спросила, нельзя ли ей прислать на мой суд несколько стихотворений. Немного позднее, все на том же сборище, я заметил, что она сидит рядом с отвратительно волосатым молодым композитором Иваном Нагим; они пили на брудершафт, а на расстоянии нескольких стульев от них д-р Баракан, талантливый невропатолог и последний Лизин любовник, следил за ней с тихим отчаянием в темных миндалевидных глазах.

Спустя несколько дней она прислала мне свои стихи; характерный образец ее продукции представляет собой тот род стихотворений, которым увлекались, с легкой руки Ахматовой, эмигрантки-стихоплетки: жеманная лирическая пьеска, которая передвигалась на цыпочках более или менее четырехстопного анапеста и потом тяжело, с томным вздохом садилась:

Самоцветов кроме очей  
Нет у меня никаких,  
Но есть роза еще нежней  
Розовых губ моих.  
И юноша тихий сказал:  
«Ваше сердце всего нежней...»  
И я опустила глаза...

Такие неполные рифмы, как «сказал – глаза», считались весьма элегантными. Заметьте также эротический подтекст и курдамурные намеки[50].

Я написал Лизе, что стихи ее дурны и что ей следует перестать их писать. Потом как-то раз я увидел ее в другом кафэ; она сидела за длинным столом в обществе нескольких поэтов, цветущая и пламенеющая. С насмешливым и загадочным упорством она не сводила с меня своего сапфирного взгляда. Мы разговорились. Я предложил ей показать мне эти стихи еще раз, в каком-нибудь более спокойном месте. Она согласилась. Я сказал ей, что они показались мне еще хуже, чем при первом чтении. Она жила в самом дешевом номере захудалого отельчика, без ванны, рядом с четкой щебечущих молодых англичан.

Бедная Лиза! Конечно, и на нее находили поэтические минуты, когда она, случалось, как замороженная останавливалась майской ночью на грязной улочке, любуясь – нет, поклоняясь пестрым обрывкам старой афиши на мокрой черной стене в свете уличного фонаря и прозрачной зелени липовых листьев, никших к фонарю; но она была из тех женщин, в которых здоровая красота совмещается с истерическим неряшливостью, лирические взрывы – с очень практичным и очень трафаретным умом, отвратительный характер – с сентиментальностью, и томная покорность – с сильнейшей способностью вынуждать людей совершать бессмысленные поступки. Вследствие переживаний и в ходе событий, изложение коих было бы лишено всякого интереса для читателя, Лиза проглотила пригоршню снотворных пилюль. Погружаясь в безпамятство, она опрокинула откупоренный пузырек темно-красных чернил, которыми она записывала свои стихи, и благодаря этой яркой струйке из-под двери, которую вовремя заметили Крис и Лу, ее удалось спасти.

Я не видел ее недели две после этой передраги, но накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в скверике в конце моей улицы – стройная незнакомка в прелестном новом платье, сизом, как Париж, и в совершенно восхитительной новой шляпе с синим птичьим крылом – и вручила мне сложенный листок. «Мне в последний раз нужен ваш совет, – сказала Лиза голосом, который французы называют „белым“, – Мне здесь делают предложение. Я буду ждать до полуночи. Если вы ничего не ответите, я приму его». Она кликнула таксомотор и укатила.

Письмо на случай сохранилось в моих бумагах. Вот оно:

«Боюсь, я заслужу немилость своим признанием – Вам должно быть больно, дорогая Lise – (автор письма, несмотря на то, что пишет по-русски, всюду пользуется этой французской формой ее имени, чтобы, как я полагаю, избежать как слишком фамильярного „Лиза“, так и чересчур официального „Елизавета Иннокентьевна“) – Человеку чуткому всегда больно видеть другого в неловком положении. А я именно в неловком положении.

Вы, Lise, окружены поэтами, учеными, художниками, франтами. Знаменитый художник, в прошлом году писавший Ваш портрет, теперь, говорят, спился где-то в дебрях Массачусетса. Ходят и другие слухи. И вот я осмеливаюсь писать к Вам.

Я некрасив, неинтересен. У меня нет особенных дарований. Я даже не богат. Но я предлагаю Вам все, что имею, до последнего кровавого шарика, до последней слезинки, все решительно. И поверьте, это больше того, что может предложить Вам любой гений, потому что гению нужно столько держать про запас, что он не может, как я, предложить Вам всего себя. Быть может, я не добьюсь счастья, но я знаю, что сделаю все, чтобы Вы были счастливы. Я хочу, чтобы Вы писали стихи. Хочу, чтобы Вы продолжали Ваши психотерапевтические исследования – в которых я мало что смыслю, а то, что мне в них доступно, представляется мне сомнительным. Между прочим, посылаю Вам отдельным пакетом брошюру, напечатанную в Праге моим другом профессором Шато, в которой он блестяще опровергает теорию Вашего д-ра Гальпа о том, что рождение представляет собой акт самоубийства со стороны младенца. Я позволил себе исправить явную опечатку на стр. 48-й этой превосходной статьи Шато. Жду Вашего» (вероятно, «решения»: нижний край листа с подписью Лиза отрезала).

4

Когда лет через шесть мне опять случилось приехать в Париж, я узнал, что Тимофей Пнин женился на Лизе Боголеповой вскоре после моего отъезда. Она прислала мне напечатанный сборник своих стихов «Сухие губы» с надписью темно-красными чернилами: «Незнакомцу от Незнакомки». Я увидел их с Пниным за чаем на квартире одного известного эмигранта, эсера, на одном из тех домашних вечеров, где старомодные террористы, героические монахины, одаренные гедонисты, либералы, дерзающие молодые поэты, пожилые писатели и художники, издатели и журналисты, свободомыслящие философы и ученые составляли как бы рыцарский орден, деятельное и влиятельное ядро общества изгнанников, за три десятилетия своего существования оставшееся фактически неизвестным американской интеллигенции, которую ловкая коммунистическая пропаганда приучила видеть в русской эмиграции мутную и совершенно вымышленную толпу так называемых троцкистов (понимай это слово как знаешь), разорившихся реакционеров, переметнувшихся или переодетых чекистов, титулованных дам, профессионального духовенства, содержателей ресторанов, и белогвардейских союзов, из которых никто не представлял решительно никакого культурного интереса.

Воспользовавшись тем, что Пнин в другом конце стола увлекся политическим спором с Керенским, Лиза сообщила мне – со свойственной ей прямолинейной непосредственностью, – что она «все рассказала Тимофею», что он «святой человек» и что он «простил» меня. К счастью, она потом не часто сопровождала его на другие сборища, где я имел удовольствие сидеть рядом с ним или насупротив, в обществе близких друзей, на нашей маленькой одинокой планете над черным, играющим алмазами городом, под лампой, заливавшей электрическим светом чей-нибудь сократовский череп, меж тем как лимонный ломтик вращался в стакане помешиваемого чая. Как-то вечером, когда д-р Баракан, Пнин и я сидели у Болотовых, я заговорил с невропатологом о его двоюродной сестре Людмиле, ныне графине Д., которую я знал по Ялте, Афинам и Лондону, как вдруг Пнин крикнул д-ру Баракану через весь стол: «Не верьте ни единому его слову, Георгий

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Арамович. Он все сочиняет. Он однажды выдумал, будто в России мы учились в одной школе и списывали друг у друга на экзаменах. Он ужасный выдумщик». Мы с Бараканом были до того ошарашены, что только молча переглянулись.

5

Когда перебираешь в памяти старые знакомства, позднейшие впечатления часто оказываются более смутными, чем ранние. Вспоминаю разговор с Лизой и ее новым мужем д-ром Эрихом Виндом, в антракте русского спектакля в Нью-Йорке где-то в начале сороковых годов. Он сказал, что «херр Профессор Пнин» вызывает у него «самое нежное чувство», и поведал мне некоторые причудливые подробности их совместного путешествия из Европы в начале второй мировой войны. В те годы я несколько раз встречался с Пниным в Нью-Йорке по разным общественным и академическим поводам; но единственное мое яркое воспоминание связано с нашей совместной поездкой в автобусе западного маршрута одним очень праздничным и очень сырым вечером 1952-го года. Он приехал из своего университета, а я из своего, чтобы выступить на литературно-художественном вечере перед большой эмигрантской аудиторией в центре города по случаю сотой годовщины смерти одного великого писателя. Пнин с середины сороковых годов преподавал в Вэйнделе, и никогда прежде я не видал его таким здоровым, таким благополучным, таким уверенным в себе. Оказалось, что мы с ним, как он сострил, восьмидесятники, то есть что оба мы должны были ночевать в районе восьмидесятых улиц западного Манхэттана; и пока мы с ним висли на соседних ремнях в этом переполненном и одержимом конвульсиями автобусе, мой добрый друг ухитрился энергично нырять головой и выворачивать шею, безпрестанно проверяя и перепроверя номера поперечных улиц, и одновременно с блеском излагать все, что не успел сказать в юбилейном докладе о «разветвленном сравнении» у Гомера и Гоголя.

6

Когда я решил принять профессорское место в Вэйнделе, я выговорил себе право пригласить кого захочу для преподавания в особом русском отделении, которое я намеревался там открыть. Получив на это согласие, я написал Тимофею Пнину, предлагая ему в самых теплых выражениях, на которые только способен, ассистировать мне в какой ему будет угодно роли и степени. Его ответ удивил и покорило меня. Он коротко отвечал, что оставляет преподавание и что не станет даже дожидаться окончания весеннего семестра, после чего переменял тему. Виктор (о котором я его учтиво спрашивал) живет с матерью в Риме; она развелась со своим третьим мужем и вышла за итальянского торговца картинами. В заключение Пнин писал, что, к его великому сожалению, он должен уехать из Вэйнделя за два или три дня до публичной лекции, которую я собирался прочесть там во вторник пятнадцатого февраля. Куда он держал путь, не уточнялось.

Автобус дальнего следования, доставивший меня в Вэйндель в понедельник четырнадцатого, прибыл в город, когда уже стемнело. Меня встретили Коккерели, угостившие меня поздним ужином у себя дома, где, как оказалось, мне предстояло ночевать, вместо того чтобы, как я рассчитывал, провести эту ночь в гостинице. Гвен Коккерель оказалась весьма миловидной женщиной лет под сорок, с профилем котенка и с грациозными конечностями. Ее муж, с которым я познакомился как-то раз в Нью-Гэйвене и который запомнился мне вялым, круглолицым, блекловолосым англичанином, приобрел неоспоримое сходство с тем, кого он вот уже почти десять лет изображал. Я был утомлен и не испытывал особого желания развлекаться за ужином номерами программы варьете, но должен признаться, что Джэк Коккерель имитировал Пнина блестяще. Он битых два часа показывал мне, как Пнин преподает, как Пнин ест, как Пнин строит глазки студентке, как Пнин эпически повествует об электрическом вентиляторе, опрометчиво запущенном на стеклянной полке прямо над ванной, куда тот под действием вибрации едва не свалился; как Пнин пытается убедить профессора Войнича, едва знакомого с ним орнитолога, что они старые приятели, Тим и Том – из чего Войнич заключил, что его кто-то разыгрывает, прикидываясь профессором Пниным. Все это, разумеется, держалось на пнинской жестикуляции и жутком пнинском английском наречии, но Коккерель ухитрился подделывать такие вещи, как тонкий оттенок разницы между молчанием Пнина и молчанием Тэера, когда они в задумчивости неподвижно сидят рядом в креслах в профессорском клубе. Нам показали Пнина в библиотеке среди стеллажей и Пнина на университетском озере. Мы слышали, как Пнин бранит разнообразные комнаты, которые он одну за другой нанимал. Мы слышали отчет Пнина о том, как он учился управлять автомобилем и что он предпринял, когда у него впервые лопнула шина на обратном пути с «птичьей фермы» какого-то «тайного советника Царя», где, по мнению Коккереля, Пнин проводил лето. Наконец мы добрались до повести о том, как Пнин однажды объявил, что его «убили на месте», между тем как, по словам его

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru имитатора, бедняга хотел сказать, что его «лишили места» (сомневаюсь, чтобы мой друг мог допустить такую оговорку). Кроме того, Коккерель с блеском рассказал о странной вражде между Пнинным и его соотечественником Комаровым – посредственным стенописцем, дополнявшим время от времени портретами профессоров фрески на стенах обеденной залы университета, написанные великим Лангом. Несмотря на то, что Комаров и Пнин принадлежали к разным политическим направлениям, этот художник-патриот усмотрел в увольнении Пнина антирусский жест и начал смывать надутого Наполеона, стоявшего между молодым, упитанным (ныне сухопарым) Блоренджем и молодым, усатым (ныне бритым) Гагеном, чтобы вписать гуда Пнина; и тут вышла сцена за завтраком между Пнинным и президентом Пуром – захлебывающийся от ярости, потерявший уже всякую власть над своим английским языком Пнин, указывая трясущимся пальцем на зачаточные контуры едва наметившегося призрака мужика на стене, кричал, что подаст на университет в суд, ежели его лицо появится над этой рубахой; и тогда невозмутимо слушавший его Пур, заключенный во мраке своей полной слепоты, подождя, когда Пнин иссякнет, спросил, обращаясь ко всем присутствовавшим: «Этот иностранный господин служит у нас в университете?» Да, инсценировка была уморительная, и хотя Гвен Коккерель, должно быть, много раз уже слышала всю программу, она смеялась так громко, что их старый пес Собакевич, коричневый кокер-спаниель с заплаканной мордой, завослился и принялся обнюхивать меня. Спектакль, повторы, был превосходный, но он слишком затянулся. К полуночи настроение стало падать: я чувствовал, что моя безсменная улыбка начала проявлять симптомы губной спазмы. Наконец мне до того это прискучило, что я стал подозревать, что вся эта пнинада в виде какого-то поэтического возмездия сделалась для Коккереля фатальным увлечением того рода, при котором насмешник и объект насмешки меняются ролями.

Мы выпили много виски, и в какой-то момент после полуночи Коккерелю пришла в голову одна из тех внезапных идей, которые на известной стадии опьянения кажутся такими блестящими и веселыми. Он сказал, что уверен, что хитрюга Пнин никуда вчера не уехал, а попросту затаился. Почему бы не телефонировать ему и не убедиться самим? Он позвонил, и хотя никто не отозвался на серию настоячивых гудков, симулирующих далекий звук настоящего звонка в воображаемой передней, можно было предположить, что если бы Пнин в самом деле покинул дом, этот совершенно исправный телефон был бы скорее всего разъединен. У меня было идиотское желание непременно сказать что-нибудь приятное моему милому Тимофее Палычу, поэтому немного погодя я в свою очередь попытался протелефонировать. Вдруг что-то звякнуло, распахнулась звуковая даль, донеслось в ответ тяжелое дыханье, и потом плохо подделанный голос произнес: «He is not at home. He has gone, he has quite gone» [51], – после чего говоривший повесил трубку; но никто другой, кроме моего старого друга, ни даже лучший его подражатель, не мог так явно срифмовать «at» с немецким «hat», «home» с французским «homme» и «gone» с первой половиной «Goneril». Потом Коккерель предложил прокатиться к дому номер девятьсот девяносто девять по Тоддовой улице и спеть серенаду его окопавшемуся там обитателю, но тут уж вмешалась Коккерелева жена, и мы все отправились спать после вечера, который оставил у меня в душе ощущение, соответствующее дурному вкусу во рту.

Мне плохо спалось в прелестной, хорошо проветренной, красиво обставленной комнате, где ни окно, ни дверь не запирались как следует и где ночная лампа стояла на одностомном полном издании Шерлока Холмса, преследовавшем меня многие годы; она была такая слабая и тусклая, что гранки, которые я захватил с собой для правки, не могли скрасить бессонницы. Грохот грузовиков каждые две минуты сотрясал дом; я то и дело задремывал и, задохнувшись, садился в постели, и сквозь пародию оконной шторы какой-то луч с улицы падал на зеркало и ослеплял меня, так что казалось будто меня расстреливают у стенки.

Я так устроен, что для того чтобы быть готовым встретить злобу дня, мне совершенно необходимо выпить стакан сока из трех апельсинов. Поэтому в половине восьмого я наскоро взял душ и через пять минут вышел из дому в обществе лопухого и унылого Собакевича.

Воздух был остро-бодрящий, небо начищено до блеска. В южном направлении пустынное шоссе забиралось между пятнами снега на сизоватый холм. Высокий обнаженный тополь, коричневый, как метла, возвышался справа от меня, и его длинная утренняя тень, пролегая через улицу, дотягивалась до здания кремового цвета с зубчатым верхом, который, по словам Коккереля, мой предшественник принимал за турецкое консульство на том основании, что видел, как туда входило множество людей в фесках. Я свернул налево, на север, прошел под гору два или

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
три квартала к ресторану, который я заметил накануне; но его еще не открывали, и я повернул назад. Не успел я сделать и двух шагов, как по улице прогромыхал большой грузовик с пивом, и сразу же за ним проследовал маленький бледно-голубой седан с выглядывавшей из него белой собачьей головой, после чего проехал еще один большой грузовик – точная копия первого. Утлый седанчик был набит узлами и чемоданами; за рулем сидел Пнин. Я издал приветственный клич, но он не видел меня, и мне оставалось только надеяться подняться по улице так скоро, чтобы нагнать его, пока красный свет на следующем перекрестке преграждал ему путь.

Ускорив шаг, я прошел мимо заднего грузовика и еще раз увидел напряженный профиль моего старого друга, в шапке с наушниками и в зимнем прорезиненном пальто; но в следующее мгновение зажегся зеленый свет, белая собачонка, высунувшись, твякнула на Собакевича, и вся процессия устремилась вперед – грузовик номер один, Пнин, грузовик номер два. С того места, где я стоял, я видел, как они удалялись в обрамлении дороги, между мавританским домом и итальянским тополем. Потом маленький седан храбро обогнал передний грузовик и, вырвавшись наконец на волю, запустил по сверкающей дороге, которая, сколько можно было разглядеть, суживалась в золотую нитку в легкой дымке, а там череда холмов красиво уходила вдаль, и просто невозможно предсказать, какие чудеса там могут произойти.

Коккерель, в коричневом халате и сандалиях, впустил кокера и повел меня на кухню к наводящему тоску английскому завтраку из почек и рыбы.

– Ну а теперь, – сказал он, – расскажу вам, как Пнин раз поднялся на сцену, чтобы выступить в кремонском дамском кружке, и обнаружил, что взял с собой не ту лекцию.

1957

Переведено 1975–1983;

новая редакция 2005–2006

Разрешенный диссонанс[52]

Ни одно звено ряда (узор которого на бесконечном удалении, отвесно, словно ракеты, возносится от своего очерченного предела, чтобы потеряться в нем) никогда не достигает пограничной черты. За нею – «абсолютное ничто», но сферический мир не может существовать без этой окружающей его пустоты, и не только оттого, что всякое «внутри» предполагает «извне», но еще и оттого, что в этом «ничто» лежат строго геометрически рассчитанные, невещественные средние точки дуг, из которых выстроена вся композиция. {1}

Литература, упоминаемая в статье в сокращенных наименованиях

Сочинения Набокова

Ада – *Ada, or Ardor. A Family Chronicle*. New York: McGraw-Hill, 1969.

АЛ – Аннотированная Лолита (*The Annotated Lolita*. Ed. Alfred Appel, Jr. New York: Vintage Books, 1991).

ДБ – *Другие берега*. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954.

ЗЛ – *Защита лужина*. Париж: Editions de la Seine, 1967.

ИП – *Избранные письма (Selected Letters, 1940–1977)*. Ed. Dmitri Nabokov and Matthew Brucoli. San Diego, New York, London: Harcourt Brace Jovanovich – Brucoli Clark Layman, 1989).

ЛЛ – *Лекции по литературе (Lectures on Literature)*. Ed. Fredson Bowers. New York: Harcourt Brace Jovanovich – Brucoli Clark, 1980).

Н-В – *Набоков – Вильсон (The Nabokov–Wilson Correspondence)*. Ed. Simon Karlinsky. New York: Harper Colophon Books, 1980).

ПЗ – *Под знаком незаконнорожденных (Bend Sinister)*. New York, Time Inc., 1964).

Пнин – *Pnin*. Garden City: Doubleday, 1957. Четыре главы сначала вышли в

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
«Нью-Йоркере»: 28 ноября 1953 г., 42–48; 23 апреля 1955 г., 31–38; 15 октября 1955 г., 38–45, 12 ноября 1955 г., 46–54.

РЛ – Лекции по русской литературе (Lectures on Russian Literature. Ed. Fredson Bowers. New York: Harcourt Brace Jovanovich – Bruccoli Clark, 1981).

РС – Резкие суждения (Strong Opinions. New York: McGraw-Hill, 1975).

СА – «Смотри – арлекины!» (Look at the Harlequins! New York: McGraw-Hill, 1974).

СТ – Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979.

Прочие сочинения

Аппель-1967 – Alfred Appel Jr. Nabokov's Puppet Show. In New Republic, 156 (1967, 14 January, 27–30, and 21 January, 25–32).

Б-1989 – Gennady Barabtarlo. Phantom of Fact. A Guide to Nabokov's «Pnin». Ann Arbor: Ardis, 1989.

Бойд-1985 – Brian Boyd. Nabokov's «Ada»: The Place of Consciousness. Ann Arbor: Ardis, 1985.

Бойд-1,2 – Brian Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years and Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton: Princeton University Press, 1990 and 1991, respectively.

Тайд-1977 – G.M.Hyde. Vladimir Nabokov: America's Russian Novelist. London: Marion Boyars, 1977.

Трамс-1974 – Paul Grams. «Pnin»: The Biographer As Meddler. In A Book of Things about Vladimir Nabokov. Ed. Carl Proffer. Ann Arbor: Ardis, 1974: 193–202.

Д. Набоков-1985 – Dmitri Nabokov. A Few Comments on the Cornell Festival Volume. В НБ 14, 1985: 10–14.

Карроль-1974 – William Carroll. Nabokov's «Signs and Symbols». In A Book of Things about Vladimir Nabokov. Ed. Carl Proffer. Ann Arbor: Ardis, 1974: 203–217.

Коннолли-1982 – Julian W.Connelly. «Pnin»: The Wonder of Recurrence and Transformation. In Nabokov's Fifth Ark: Nabokov and Others on His Life's work. Eds. J. E. Rivers and Charles Nicol. Austin: Texas University Press, 1982: 195–212.

Майер-1988 – Priscilla Meyer. Find what the Sailor Has Hidden. Middletown: Wesleyan University Press, 1988.

НБ – The Nabokovian (первые двенадцать выпусков назывались The Vladimir Nabokov Research Newsletter). Lawrence: The University of Kansas, 1978.

Немеров-1957 – Howard Nemerov. The Morality of Art. In Kenyon Review, XIX (Spring 1957): 313–321.

Николь-1971 – Charles Nicol. Pnin's History. In Novel. A Forum on Fiction, vol. 4, n. 3 (Spring 1971): 197–208.

Паркер-1984 – The Achievements of Vladimir Nabokov. Eds. George Gibian, Stephen Parker. Ithaca: Cornell University Press, 1984.

Роу-1981 – William W. Rowe. Nabokov's Spectral Dimension. Ann Arbor: Ardis, 1981.

Токер-1989 – Leona Toker. Nabokov: The Mystery of Literary Structures. Ithaca: Cornell University Press, 1989.

Фаулер-1974 – Douglas Fowler. Reading Nabokov. Ithaca: Cornell University Press, 1974.

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Флоренский-1914 – Столп и утверждение Истины. Опыт православной Феоидицеи в двенадцати письмах. Свящ. Павла Флоренского. Москва: Путь, 1914.

Хайман-1959 – John G. Hayman. A Conversation with Vladimir Nabokov – with Digressions. In The Twentieth Century, CIXVI (December 1959): 444–450.

Эшер-1988 – M. C. Escher. Approaches to Infinity. In The World of M. C. Escher. Ed. J. L. Locher. New York: Abradale Press, 1988.

1

Четвертый английский роман Набокова отличается от прочих и устройством своим, и родом. Очень многие, чтобы не сказать все, начиная от обезкураженного издателя, отказавшегося печатать «Пнина» (который появлялся на свет отдельными главами, с пропусками, в журнале{2}, – чего не бывало с остальными английскими романами Набокова), полагали, что книга эта представляет собою собрание более или менее самостоятельных этюдов, рассказов, нанизанных вроде бусин на одну повествовательную нить, но не образующих целого «романа» в том (очень, вообще говоря, рыхлом) смысле, в каком это слово обыкновенно понимают.

Можно допустить, что первоначальный замысел и предполагал нечто в этом роде: первое упоминание о нем находим в письме к Эдмунду Вильсону в июне тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, где Набоков пишет, что начал сочинять «несколько рассказов об одном моем создании, некоем профессоре Пнине»{3}. Скоро, однако, его планы и взгляды переменялись, и он стал утверждать, что «Пнин» «отнюдь не собрание этюдов»{4}. Это противоречие можно устранить не столько педантическими указаниями на ничего в этом случае не значащую разницу между рассказами и этюдами (или очерками, «sketch». «Очерков не пишу», проворчал Набоков в письме к упомянутому издателю, Паскалю Ковичи), сколько вспомнив, что у Набокова было совершенно особенное понятие о художественной целостности произведения, которое существенно отличалось от общепринятого и которое основано на придуманном им методе прокладывания тематических путей сообщения, а не на сюжетном или характерном развитии. Характеры Набокова очень редко меняются в пределах книги и, во всяком случае, никогда не изменяются в такой степени, как мы это видим у Диккенса, не говоря уже о Толстом.

Помня об этом, можно сказать, что главы автобиографии Набокова, напечатанные несколькими годами ранее в том же журнале, что и «Пнин», каждая из которых снабжена своей собственной арматурой рассказа, тоже образуют роман, и будучи слиты в книгу «Убедительное доказательство», они сочленяются в единую структуру тематических звеньев, которая поддерживает весь повествовательный комплекс. «Пнин», у которого, по словам его автора, «внутреннее устройство основано на целом ряде органических внутренних переключений» (от темы к теме){5}, есть произведение сходного рода. Существенное различие между этими двумя книгами состоит в пропорции производительного и воспроизводительного импульса, т. е. в отношении воображения к воспоминанию.

Теренциан Мавр сказал, что книжки имеют свою судьбу, которая зависит от способности читателей (читать). У «Пнина» всегда была своя свита почитателей, которым по душе смешные стороны книги и которые, невзирая на всю ее горечь, считают ее «теплой» – даже если они при этом равнодушны к другим книгам Набокова. В первые же полгода по выходе «Пнина» отдельным изданием в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году появилось семьдесят семь рецензий только по-английски, большей частью поверхностных, и со всем тем этот роман изучают менее охотно, чем другие английские книги Набокова, – может быть, как раз вследствие его кажущейся, но обманчивой незамысловатости{6}.

Хронологически профессор Пнин помещается между Гумбертом и кинботом (тоже учеными филологами), резко отличаясь от обоих дурным английским языком, что в сочетании с его склонностью к обстоятельности в речи создает предпосылки для баснословно забавных положений.

И даже непритязательный читатель, который в другой раз книги не откроет, очень скоро понимает, что Пнин, несмотря на свои постоянные комические промахи и странности и педантические привычки, человек весьма привлекательный. В этом трио профессоров-иностранцев, каждый из которых в Америке явно инородное тело, только Пнин в здравом уме и с сострадательной душой, тогда как по обе стороны от него располагаются извратившие свою душу, помешавшиеся в рассудке себялюбцы{7}. Кроме того, в отличие от этих двух соседей, Пнин сам своей жизни не рассказывает, что

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
чрезвычайно важно; вместо того повесть о Пнине принадлежит перу странного героя N., а так как бремя доказательств всегда лежит на повествователе (хотя в высшей инстанции оно должно быть на читателе, конечно), то эта особенность приобретает огромное психологическое теоретическое и художественно-техническое значение.

Некоторые конституционные условия «Пнина» если и не совершенно небывалые в литературе, то во всяком случае весьма редко встречаются. В этой тонкой книжке расселилось неимоверное количество лиц (более трехсот), но, в отличие от других густонаселенных романов, вроде «Улисса», здесь совсем нет ощущения тесноты, потому что многие из этих лиц – эфемерных, хотя и живо написанных – входят в книгу и покидают ее в пределах одного синтаксического периода, не оказывая на развитие сюжета никакого или почти никакого действия. Это тщательно дозированное и рассчитанное введение в текст действительных, хотя и не действующих лиц являет собою усовершенствованный стилистический прием Гоголя, который Набоков специально описал{8}.

Чрезвычайно интересно устроена и хронологическая система романа. Нельзя, например, не заметить постепенного сжатия времени по мере разворачивания романа по главам (первые три охватывают почти два с половиною года, тогда как остальные четыре меньше одного), искусных откатов и оползней времени в каждой главе и хронологической двойственности, или двумерности, создаваемой намеренным смешением двух календарей, русского (Юлианского) и западного (Григорианского), что всего яснее видно в третьей главе, где «Пнинский День» (день его рождения, пятнадцатое февраля по новому стилю, незамеченный им отчасти из-за календарной путаницы) на самом деле может быть днем смерти Пушкина (десятое февраля нового стиля), так что памятование о смерти, владеющее Пниным в этот день, пропитанное печальными стихами Пушкина о собственном предчувствии смерти, окрашивает всю главу и делается ее основной темой{9}.

Едва ли не каждое серьезное исследование «Пнина» обращает первейшее внимание на два капитальных и взаимозависимых вопроса: на тематический чертеж романа и на его повествовательную стратегию с различными их экспликациями, художественными, нравственными и философскими, и наше дальнейшее изложение будет следовать этим именно путям.

2

Как уже сказано, только самые первые и самые поверхностные критики полагали «Пнина» книгой рассказов о чуде профессоре, кое-как сшитых одной временной нитью. Этому ложному впечатлению нетрудно поддаться, так как каждая глава замкнута кругообразной композицией, которая кажется вполне самодостаточной, между тем как сильная со- подчиненность глав друг другу искусно сокрыта и делается очевидной только при ближайшем рассмотрении. Каждая глава романа, который, кстати сказать, вначале назывался «Мой бедный Пнин», имела собственное наименование{10}, и не удивительно, что это обстоятельство утвердило читателей журнального варианта в том мнении, что у книги этой как бы составная, сложносочиненная рама. Набоков, вероятно, почувствовал опасность такого впечатления, и когда издательство «Викинг» отказалось от «Пнина», отчасти именно вследствие кажущейся фрагментарности книги, он счел нужным указать следующему издателю, которому предложил рукопись, что «главы эти, хотя и наскрены и освещены по-разному, положительно складываются в конце концов в единое целое»{11}.

«Я своих романов не начинаю (писать) с начала», как-то сказал Набоков. И однако, в отличие от большинства других его английских книг, он как будто сочинял «Пнина» в естественном продвижении от начала к концу. Собственно, в письменных ответах профессору Альфреду Аппелю Набоков так и говорит: «План „Пнина" был готов у меня в голове, когда я писал первую его главу, которая, кажется, была в сем случае действительно первой из семи глав...» Первоначальный этот план предполагал еще одну главу, между четвертой и пятой. Она не была написана, хотя известно, что в ней Набоков имел в виду описать борьбу Пнина с инструкторами и с пособиями по искусству управления автомобилем{12}.

Со всем тем композиция Пнина чрезвычайно плотна, и составляющие ее части взаимодействуют точно и изящно. «„Пнин" – вещь сложная, с ним нужно обращаться как с домашним питомом», пишет Чарльз Николь{13}, и в одном отношении это странное сравнение удачно, потому что поступательно-векторное движение повествования как бы кусает свой собственный хвост (suummet rodit) – или, лучше сказать, тень хвоста. Вытянувшись во всю свою длину, тело романа складывается в

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
тематическое кольцо, и книга заканчивается тем же событием, с которого началась,  
– но в совершенно ином изложении, а именно лекцией Пнина в дамском клубе.

Но и каждая глава «Пнина», в свою очередь, представляет собою малое кольцо, или сфероид, за вычетом двух крайних, первой и седьмой, которые, служа книге входом и выходом, то есть наиважнейшими элементами ее структуры, обладают своей собственной композицией.

Главы эти направлены не только вовне, но и друг к другу – чрез зияющее пространство обратимого времени. Между ними имеется силовое поле и установлена беспроволочная связь, и так как эта взаимосвязь дальнего действия, через все протяжение текста, из одного его полушария в другое, – то эти сегменты романа должны сохранять свои причальные концы разомкнутыми, чтобы начало и конец всей книги могли умозрительно сомкнуться. Итак, если внутренние главы композиционно кругообразны, то внешние обеспечивают замкнутую кругообразность всей книги в целом.

В самом начале «Пнина» герой едет не на том поезде в маленький город, куда его пригласили с лекцией; в конце этой первой главы он стоит в зале за кафедрой, дожидаясь, пока совсем растает дымка видений, оставшаяся после его недавнего припадка. Кажется неправдоподобным, чтобы перед ним в этот момент лежала не та лекция, как это передает Коккерель, которому как будто принадлежит в романе последнее слово о Пнине (смотри ниже), однако совершенно исключить эту возможность невозможно.

Вторая глава открывается под звон университетских колоколов, который подхватывается звонком телефона в передней дома Клементсов: это Пнин осведомляется о комнате внаем; а кончается эта глава крупным планом Джоаны Клементс, которая машинально разглядывает обложку местного журнальчика с изображением университетской колокольни, между тем как Пнин, ее новый квартирант, не может сдержать слез от пережитого в этот день и накопленного в прошлом страдания.

Третья глава открывается описанием череды разных жилищ Пнина, неудобных, главным образом, своей неизбежной звукопроницаемостью, заканчивается же она в тот момент, когда Пнину приходится оставить комнату, где ему впервые удобно и уютно жилось.

Четвертая глава расположена в тематическом и геометрическом центре книги, и, может быть, вследствие этого она изучена лучше других{14}. В начале ее Виктор Винд представляет себе воображаемого отца, одинокого, преданного и покинутого приближенными короля, в конце же Пнин («водный отец» Виктора, как его в шутку называет Эрих Винд, настоящий отец; шутка эта может быть удачнее, чем он предполагал) видит во сне продолжение этой самой фантазии Виктора. Интересно заметить, что в обеих частях этого обрамляющего главу сюжета находим «неразборчивые – и для Виктора, и для Пнина – строки» набросков Набокова к незаконченному русскому роману «Solus Rex», тематическая фигура которого позднее была перенесена в «Бледный огонь».

В начале пятой главы перед читателем веером разворачивается, насколько хватает глаз с дозорной башни, безмятежная панорама лесов «прелестной Новой Англии». К концу ее, однако, леса эти сменяются жутким немецким «темным лесом», где была убита невеста Пнина в одном из истребительных лагерей, расположенных в самом безобидном как будто месте, в сердце «заповедника немецкой культуры».

Шестая глава начинается вместе с новым осенним семестром в Вэйндельском университете; Пнин тем временем наконец-то находит для себя во всех отношениях удобное пристанище. Но в конце главы он должен отказаться не только от милой надежды поселиться в этом доме навсегда, но и от места в университете.

Последняя же глава как бы перебирает одну за другой темы всех предыдущих, словно подвергая их краткому обзору и завершая круговую конфигурацию книги самой последней фразой, отсылающей читателя назад, к отправному пункту.

Эти концентрические круги, опоясывающие повествование о шести или семи сценах из жизни Пнина в продолжение четырех с половиной лет поступательного времени романа и более полувека ретроспективного времени, образуют некую планетарную, эпициклическую передачу, в которой одно зубчатое колесо ходит, обращаясь по

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
окружности другого{15}.

Как можно тут говорить о самостоятельных эпизодах, сколоченных в одно целое, только напоминающее остов и устройство романа! Совсем напротив – они стянуты стальными прутьями и приводными ремнями взаимосцепленных тем разной длины, но совершенно определенного направления и назначения. Именно арматура этих прутьев, а не фабула как таковая, поддерживает построенный мир Пнина.

В примечании к своим корнельским лекциям о «Мансфильдском парке» Джейн Остин Набоков определяет сюжет как «supposed story», что можно передать как «мнимую повесть», то есть как то, что читателю кажется будто происходит в книге; далее, он называет тематическими линиями, или ходами, «образы или понятия, которые то тут, то там повторяются в романе, вроде мелодии в фуге»; структурой же зовет «композицию книги, развитие событий, приводящих одно к другому, хитроумные способы введения героев в повествование или приведения в действие нового сюжетного комплекса, или сопряжения различных тем, посредством которого повествованию сообщается поступательное движение»{16}.

3

Ни в чем ином Набоков не ушел от других романистов так далеко, как в искусстве композиционного построения, и особенно в умении создавать тематическое согласие взаимодействующих мотивов, что достигается посредством тонких, плавных, «органических» переходов или переключений тем из одной в другую, равно как точно рассчитанных, видоизменяемых повторений некоторых подробностей. Нити этиологических связей протягиваются от одной главы к другой, ретроспективно освещая, выделяя и соединяя эти подробности между собою. Например, коричневый костюм, купленный Пниным ценою мучительного происшествия в первой главе и надетый им во второй (спустя несколько месяцев) в честь приехавшей к нему Лизы, ею быстро забраковывается, и это ее брошенное мимоходом замечание делается последней злой каплей всего этого до нелепости жестокого посещения.

Но бывают тематические нити не местного, а дальнего следования, они тянутся по всей длине книги, всплывая на поверхность в разных видах в каждой главе. Образованная такими связями сеть длинных и коротких линий сплетена весьма замысловато, и этот переплет тем, в плане, видимом с известного возвышения, указывает свою правильность и функциональным расчетом на ставшую очевидной неслучайность конфигураций. Всякая композиция указывает на композитора. Здесь речь идет не о праздной, хотя бы и остроумной, игре, но о философском эксперименте в словесном искусстве, который в принципе выводит и ставящего опыт сочинителя, и подопытного читателя далеко за пределы художественного сочинения – в мир настоящий, с заглядыванием в предстоящий.

Вот хороший пример такой темы дальнего, от главы к главе, следования – темы оптического отражения. В первой главе «блик стакана, медные шары изголовья кровати [больного мальчика]... перебивали узор листьев и ярких цветов [на обоях] в меньшей степени, чем отражение в оконном стекле предмета, находящегося внутри комнаты, мешало видеть пейзажи за окном». Все это Пнин созерцает теперь, через толщу сорока с лишним лет, в состоянии гипнотического воспоминания (вызванного странным, изредка повторяющимся, сердечным, по-видимому, припадком, природу которого врачи не могут разгадать), и поэтому нужно учитывать забавный мотив аберрации, вызванной расстоянием, ибо всегда существует малое, но неодолимое несоответствие между воспринимаемым и отраженным (например, в воспоминании). Это неполное соответствие, или несовпадение, находится в основании одного из важнейших истолкований всего романа; ведь общее искажение жизни Пнина, как она излагается повествователем N., некоторым образом напоминает эти оптические рефракции. С другой стороны, коккерель – сам вымышленный выдумщик – составляет жизнь Пнина из одних только комических анекдотов, мелькающих один за другим быстрой чередой и представляющих подлинного Пнина в гораздо меньшей степени правдоподобия, чем *petite histoire* русской культуры, писанием которой занят Пнин, «отражает в миниатюре великую взаимосвязь событий».

Во второй главе видим, как неспешно падает снег, «поблескивая, отражаясь в безмолвном зеркале». В третьей, когда Пнин поднимает от книги усталые глаза и задерживает взгляд на высоком окне, «сквозь его таявшие раздумья проступал лилово-синий воздух сумерок, посеребренный отражением флуоресцентных ламп на потолке, а посреди паучьих черных веток [за окном] отражался ряд ярких книжных корешков». В четвертой, контрапунктной главе, тема отражений делается выпуклой. На первый взгляд, здесь речь о живописной технике, но повторное чтение

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru доказывает функциональную важность этой темы не только в этой центральной главе, но и во всей книге, ибо тема эта дает понятие, или, вернее, образ нарастания сюжета. В симметрической середине романа описывается, как Виктор ставит опыты с отражениями различных предметов, изменяющих форму, а то и суть свою, когда их рассматриваешь сквозь толщу воды:

...красное яблоко превращалось в ровную красную полосу, ограниченную прямым горизонтом, – полстакана Красного моря, Arabia felix. Если держать короткий карандаш наклонно, то он изгибался стилизованной змеей, но если поставить его прямо, то он делался чудовищным толстяком, чуть ли не пирамидой. Если двигать туда-сюда черную пешку, то она распадалась на два черных муравья. А если держать гребенку стоямя, то стакан, казалось, наполнялся прелестной полосатой жидкостью, каким-то коктейлем «зебра»[53].

Подробное описание усадьбы в пятой главе задерживается на «строгости вида этажерке, с потемневшими зеркальцами на задней стене, печальными, как глаза у старых обезьян». Здесь, кстати, вспоминается пассаж из предыдущей главы о «микроскопической комнатке... в тех совершенно особенных, совершенно волшебных выпуклых зеркальцах, которые пятью веками раньше любили вставлять в свои подробнейшие интерьеры и Ван Эйк, и Петрус Христус, и Мемлинг».

В шестой же главе встречаем описание интерьера, где «...пара хрустальных подсвечников с подвесками... была причиной радужных отражений ранним утром, прелестно загоравшихся на буфете и напоминавших моему сентиментальному другу об оконных витражах, окрашивавших солнечный свет в оранжевые, зеленые и фиолетовые цвета на верандах русских усадебных домов».

Наконец, в седьмой эта тема (как и многие другие) подвергается пересмотру, да и вся заключительная глава может быть рассмотрена как составная метафора этого ряда образов, как бы огромное зеркало, в котором жизнь Пнина отражается с неуловимой степенью искажения. «Здесь мы наблюдаем сдвиг фокуса, – пишет Набоков в своей лекции о романе Пруста, – и это смещение производит радужную грань: это особенный Прустовский кристалл, сквозь который мы читаем его книгу... Пруст призматичен. Его назначение – вернее, назначение этой его призмы – преломлять и, преломляя, воспроизводить мир ретроспективно»{17}.

Другой эмблематической фигурой, неукоснительно появляющейся в каждой главе книги, оказывается белка. Ее явления в «Пнине» образуют рисунок более законченный, чем букетик фиалок в «Истинной жизни Севастьяна Найта», или чем продолговатая лужа в «Незаконнорожденных», или чем темные очки в «Лолите». Один читатель склонен видеть здесь метампсихическое воплощение умершей невесты Пнина, дух которой, посредством белки, вмешивается в его жизнь в критические ее моменты{18}. Другие полагают, что характер появления этого грызуна наводит на мысль о «возможном метафизическом разрешении вопроса о человеческих страданиях», что, без сомнения, является главным вопросом всей книги. Например, в первой же главе мы видим, как белка, выжженная на ширме у кровати Пнина в его воспоминаемом детстве, чудесным образом превращается в живое существо, скачущее вприсядку возле него, когда он приходит в себя, в свое настоящее, после приступа «страдания и страха», – и как знать, может быть, это превращение означает, что страдание Пнина не есть следствие «чьего-то своевольного и злого умысла, но средство к извлечению сокровища частного прошлого героя и нашего настоящего сострадания»{19}.

Но имеется как будто и иное соответствие между посещением белкой очередной главы и очередным несчастьем Пнина, только что приключившимся или имеющим скоро произойти. Во второй главе это особенно ясно видно, когда Пнин встречает на пути белку в то самое мгновение – мгновенно исчезающее, – когда он вдруг почувствовал, что еще чуть-чуть, и он разрешит наконец основную загадку бытия, подоплеку всей вселенной (его бытия, его вселенной, разумеется), найдет ключ, отпирающий смысл его существования – состоящий, быть может, в том, что он сам есть создание превосходного сочинителя правдоподобных мирозданий, чему настойчивое появление белки служит доказательством и красноречивой приметой.

Оба этих тематических провода, белка и призма, пересекаются в шестой главе, где Пнин с жаром доказывает, что pantoufles Золушки не хрустальные (стеклянные, verre по-французски), как обычно, и ошибочно, полагают, следуя испорченному тексту сказки, но меховые, т. е. отороченные беличьим мехом (vair). Отметим еще, что Чарльз Николь видит неслучайное, по его мнению, соположение почтовой

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
карточки с изображением Серой Белки, которую Пнин послал Виктору, со стеклянного  
вазою «золушкиного [пепельного] оттенка», посланной Виктором в подарок Пнину  
несколько месяцев спустя{20}.

Тематические повторения у Набокова изучены лучше многих других отделов его  
искусства. В конце «Пнина» есть место, где действующее лицо книги чуть ли не за  
руку берет читателя, чтобы подвести его к машинному отделению и показать  
устройство двигателя: во время вечеринки у Пнина в его новонаянтом доме Джоана  
Клементс разговаривает с профессором английской литературы о некоем писателе –  
совершенно очевидно, о том самом, кто и описывает все происходящее, включая и  
этот диалог:

Но не кажется ли вам – хэ – что едва-ли не во всех своих романах – хэ – он  
пытается – хэ – изобразить причудливое повторение некоторых положений?

Это наблюдение колоссальной важности для читателя, который приглашается обратить  
самое пристальное внимание на возобновление «некоторых положений» в том самом  
романе, который он держит теперь раскрытым перед собой, – именно, приглашается с  
этой целью перелистать безотлагательно его уже прочитанные страницы. И со всем  
тем, вышеприведенный отрывок включен в текст просто как выбранный наудачу  
образчик странной манеры Джоаны, когда она бывала немного навеселе, расставляя  
в своей речи на известных интервалах эти придыхательные «хэ». Любопытно и то,  
что Набоков описывает характерный маньеризм, приводя якобы случайный его пример  
из самых свежих, а не старых, как это обыкновенно делается («Ну, бгат, ты что-то  
завгался, сказал Денисов, – который жестоко картавил»). Этот прием позволяет ему  
незаметно подвигать повествование точными, но сильными толчками, неощутимыми и  
оттого не вдруг осознанными читателем. Когда в третьей главе Набоков долго  
распространяется о мучительных отношениях Пнина с английской фонетикой,  
артикуляцией и лексикой, он обращается за примером Пнинского тройного, на  
итальянский манер, отрицания («но-но-но») не к какому-нибудь случаю из прошлого,  
но к диалогу, происходящему «теперь», на поверхности времени, а не на глубине  
его, прямо на глазах читателя и, однако, укромно: Пнин, пешком идущий в  
университет, отклоняет таким образом предложение проезжающего коллеги подвести  
его. Так imparfait привычного действия, своеобразное употребление которого  
Набоков отмечает в «Мадам Бовари», мастерски сливается в его собственном романе  
с длительным прошедшим повествовательного времени, в котором действие  
описывается и классифицируется в момент (описываемого) совершения.

Этот прием, встречающийся у Набокова в разных видах, чреват двусмыслицей,  
которая может помочь истолковать трудное место, но может и сбить с толку.  
Иногда, как в примере с пунктирной речью Джоаны Клементс, мы имеем дело с  
нарочито прозрачным подвохом. Но иногда границы темы не ясны, и схема остается  
обесточенной. Вот, например, «восточный» мотив во второй главе (как и другие  
тематические линии, он кратко появляется и в последней главе, где нам сообщают,  
что Пнин принял ложу американских масонов за турецкое консульство). Покуда  
Джоана Клементс идет к телефону в передней, повествователь неожиданно делает на  
первый взгляд совершенно не относящееся к происходящему отступление:

Говоря профессионально, в умении связно передавать телефонный разговор  
повествователь все еще далеко отстает от своего же искусства воспроизводить  
диалоги людей, находящихся в разных комнатах или в разных домах, через окна,  
поверх какой-нибудь узкой, синей улочки в древнем городе, где вода на вес  
золота, где ослики так несчастны, где торгуют коврами, где полно минаретов,  
иностранцев и дынь и где по утрам гуляет дрожащее эхо.

Этот образ восточного города останется незакрепленным до тех пор, покуда  
читатель не догадается, уже к концу главы, что это на самом деле описание  
акварели, висящей в передней Клементсова дома, и что Набоков просто следует за  
взглядом «блуждающих глаз» Джоаны и воспроизводит то, что она видит в тот  
момент, что снимает трубку с аппарата и слышит странные звуки на другом конце  
провода. И однако, эта связь должна быть установлена самим внимательным  
читателем, потому что Набоков не собирается ее указывать или даже намекать на ее  
существование. Когда Лиза Винд входит в эту самую переднюю и оглядывается, она  
со свойственной ей, и ей самой, видимо, нравящейся грубоватой прямоотой, говорит:  
«Какое жуткое место...», садясь при этом на тот самый стул возле телефона, где  
прежде сидела Джоана. «Посмотри только на эту акварель с минаретами. Должно  
быть, ужасные люди».

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Доминантные ноты этой темы раздаются в нескольких местах и этой главы, и прочих. Во время первой своей встречи Пнин и Джоана узнают, что они оба жили в Константинополе приблизительно в одно и то же время и что оба помнят, что вода по-турецки «су». После того как Пнин вселился в дом Клементсов и Лиза телеграммой известила его о своем приезде, «Пнин с грохотом сошел со второго этажа по лестнице, оступись и едва не упал к ногам [Клементсов], как челобитчик в каком-нибудь древнем городе, полном беззаконий», прося своих хозяев позволить ему принять у себя свою бывшую жену. В следующей главе узнаем, что Пнин украсил свой университетский кабинет «бывшим когда-то турецким ковром», за три доллара купленным у госпожи Маккрystal, одной из множеств бывших его квартирных хозяек. Ковер этот в шестой главе превращается в «более или менее пакистанский».

Таким образом, чуть ли не все эти ближневосточные виньетки, нанизанные на одну связку в приведенном выше неожиданном отступлении о телефонных разговорах, появляются в других местах книги: и минареты, и вода, и ковры «на продажу», и чудовищно жестокая несправедливость Лизы, и плачевная участь Пнина, который в конце второй главы не может, как будто, долее ее выносить.

4

Тому, кто умеет читать Набокова, то есть серьезному перечитывателю его вымыслов, столь же очевидно существование сложного тематического переплета, сколь оно скрыто от героев и объектов этих вымыслов. Но этого знания недовольно. Трудно ведь не задаться вопросом, простирается ли этот узор из тематических линий за пределы своей территории, за пределы лабиринта семи глав «Пнина»? Есть ли, например, у темы Белки еще и своя особенная, иносказательная миссия, помимо, разумеется, участия в общем символизме всякого художественного выражения?

Быть может и нет. С какой бы настойчивостью эти образы ни повторялись, видоизменяясь, здесь и там, они совсем не обязаны нести «бремя [какого-то особенного] значения сверх того, что за сочинением находится сочинитель, повторяющий их, и что они суть часть общего плана»{21}.

Но мирок Пнина отличается от прочих тем, что он составлен из двух общих планов, причем один помещен внутри другого, и оттого решение задачи этого романа по необходимости двуступенчато: сначала требуется произвести действие в скобках, внутри плана повествования, и только потом рассматривать более общий замысел Набокова, обнимающий первый, внутривоплощенный. Один чуткий рецензент книги скоро разглядел эту ее фундаментальную особенность: «Набоков – мастер создавать до того необычные отношения со своими повествователями, а те, в свою очередь, с предметами их повествования, что в его руках священные точки зрения плодят кроликов, как шляпа фокусника»{22}.

Повествователь в «Пнине» – фигура самая неуловимая и загадочная и в этом отношении сравнимая только с первым лицом «Истинной жизни Севастьяна Найта» и «Бледного огня». На первый взгляд дело обстоит просто. «В конце романа я, Владимир Набоков, собственной персоной прибываю в Вэйндельский университет с лекцией о русской литературе, тогда как бедный Пнин умирает, посреди незаконченного дела и неразрешенных задач»{23}. В то время, когда этот приговор был произнесен, то есть в 1954 году, Владимир Набоков закончил всего две главы, и как в ходе дальнейшего сочинения он решительно переменял участь своего героя, точно так же решительно переделал он и персону своего повествователя. В письме к тому же адресату, написанном по окончании всей книги, Набоков уже окружает «я» отдалительными кавычками и открывает очень важный стратегический замысел. Первоначальный повествователь, то более, то менее назойливое присутствие которого дает о себе знать с самого начала книги, в известном смысле вытесняет собою своего героя в последней главе, резко смещая фокус повествования – повествователь этот действительно близко подводится к точке совпадения со своим создателем, так соблазнительно близко, что нетрудно, обознавшись, принять одного за другого. Но это гиперболическое сближение, то есть принципиально не позволяющее кривой не то что слиться с осью, но даже коснуться ее при каком угодно приближении.

У них одинаковые имена и отчества; их фамилии начинаются на N. Как и Набоков, N. родился в апреле 1899 года в Петербурге. Он известный «англо-русский» писатель, университетский профессор и ученый, знаток бабочек. К тому же у него те же, что и у Набокова, художественные, общекультурные и политические вкусы и взгляды. Если всматриваться внимательнее, можно увидеть, что иные биографические штрихи расходятся: у N. имеется остзейская тетка, в имении которой он проводит лето

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
1916 года; некоторые подробности его скитаний по Европе не похожи на эмигрантскую жизнь Набокова, N. очевидно не женат, когда приезжает в Вэйндель. Но коренная разница, которую Набоков резко и глубоко подчеркивает, та разница, которая потребовала эскорта кавычек вокруг «я» в письме к Ковичи, лежит в нравственной области. (И это обстоятельство усиливает сходство повествователя Пнина с другим вымышленным В. В. Н., первым лицом последнего романа Набокова «Смотри – арлекины!», который в перечне своих сочинений приводит роман «Доктор Ольга Репнина».)

Разнообразные замечания N. о Пнине, тон, в котором он передает историю своей связи с Лизой, то, что он передает печати интимное письмо к ней Пнина, и игривый, едва ли не дразнящий и вообще обидно-покровительственный тон, которым он повествует о предметах совершенно частных и очень (для Пнина) печальных, – все это предполагает огромный запас спеси, которую он не считает нужным скрывать, черствости сердечной, тщеславия и общего злонравия, то есть такого набора пороков, который только очень плоский и очень враждебный биограф найдет у Набокова, между тем как добросовестный предъявит доказательства противоположных качеств (впрочем, тщеславием Набоков безусловно страдал, чего, вероятно, не может избежать никакой сильный художник).

Именно этот легкодоступный, напрашивающийся, немилостивый образ безсердечного, хотя и превосходного «англо-русского» писателя из «Пнина» Набоков с такой грустью пародирует в своем последнем русском стихотворении, в самых последних и самых грустных его строчках:

«N. – писатель недюжинный, сноб и атлет,  
Наделенный огромным апломбом»{24}.

Эти строчки взяты в те же изоляционные кавычки, что и давешнее личное местоимение. Трудно отказаться от мысли, что этот весьма неприятный N., которого Пнин в последней главе называет «ужасным выдумщиком», и есть тот самый «зловредный конструктор» (как он назван в первой главе), а если так, то не следует ли из этого, что его повествование о Пнине нарочно искажено или даже выдумано?

Всякий сколько-нибудь серьезный исследователь «Пнина» задавался этим вопросом прежде всех прочих.

5

Безусловно имеется не один добротный способ описать тематическое содержание «Пнина». Нетрудно, например, увидеть в нем постепенное и вдохновенное восстановление прошедшего времени. У Набокова была своя теория времени, которую он последовательно углублял в каждом из своих романов после «Пнина». Он излагает ее подробно в трактате Вана Вина «Строение времени», составляющем четвертый отдел «Ады». Согласно этой теории, будущее время не мыслимо и, строго говоря, не выразимо и самая его идея логически недопустима уже потому, что для того, чтобы не быть просто нелепой условностью, будущее должно было бы обойтись без сказуемого настоящего времени в своем определении, а это невозможно. Раз нельзя сказать, что будущее есть то-то и то-то, то можно сказать, что его нет, вернее, что оно – несть. И однако можно допустить настоящее как подвижный, соотносительный, сверочный момент, который, если его все равно по какой причине и какими способами остановить, в то же мгновение исчезает, поглощенный временем прошедшим. Настоящее время только мнимо-стоящее; прошедшее – мнимо-текущее. Прошлое дается нам в реставрационном усилии, иными словами, в настоящем воспоминательном. И если термин будущего в самом определении отрицает себя самого, если настоящее есть неуловимая фигура мысли и если прошедшее как таковое можно уподобить все поднимающейся и «одновременно» всегда удаляющейся кривой, составленной из точек приложения памяти, – то приходится признать, что время есть не что другое, как всеобщее-всеобъемлющее и имманентное состояние человеческого сознания, вне которого живой человек не может не «сойти с ума». В Книге о конце времен Ангел клянется, что «времени больше не будет». Так компас не нужен более у полюса.

Представление о непрерывной цепи последовательных явлений не просто свойственно сознанию, но есть его элемент и даже условие его обычного существования и действия. Отдельно взятое понятие «времени», выпаренное из этого представления, есть, в сущности, поэтическое или техническое, но нефилософское понятие, вроде горизонта или ртутного столба. Не может быть независимого определения прямой или, еще существеннее, математической точки, и однако и та и другая

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru постулируются (чисто поэтически) для всех основных математических операций и их можно взять, поместить и координировать с абсолютной точностью.

Так же и необратимый отток времени есть иллюзорный, но поразительно искусный, безусловно гениальный троп, проникающий все земное сознание человека. И всякий сильный художник необходимо переносит это основное условие здешнего бытия в вообразенный мир своих созданий.

Набоков предоставлял своим самым глубокомыслящим героям рассуждать об этих и подобных им предметах, а сам тщательно воздерживался от суждений о них, будучи спрошен о том публично. Но это обстоятельство только подчеркивает чрезвычайное значение привычной иллюзии текучести времени для серьезного произведения{25}.

На больших художественных высотах словесный вымысел, особенно же в форме романа, должен стремиться не только к структурной, но и к онтологической целостности и сообразности. Помимо прочего, это означает, что действующие лица не могут произвольно передвигаться во времени взад и вперед, не могут заново пройти уже пройденный путь или знать свою участь заранее, то есть не могут обратить или иначе как-нибудь исказить ход метафоры времени, которая создает иллюзию поступательного, а не вращательного движения и которая вообще действует лучше всего тогда и постольку, когда и поскольку ее не понимают, всего же лучше – когда на нее вовсе не обращают внимания.

Но время делается совершенно послушным и позволяет производить над собою самые сложные манипуляции, если его наблюдать извне, с привилегированной, возвышенной обзорной точки, которую Набоков резервирует для внимательных перечитывателей: рядом с собой.

Тут читатель оказывается вне временных ограничений, которые обуславливают существование персонажей книги; он знает, что их ждет, так же хорошо, как и их прошлое, и может, таким образом, изучать открывающуюся пред ним общую картину романа и как панораму, и в мельчайших подробностях, прослеживая ход той или иной тропки лабиринта и обнаруживая потаенные сокровища при каждом новом чтении.

Набоков всегда ощущает, что память смертного человека может быть предшественницей такого состояния сознания, которому прошлое может быть доступно непосредственно, и тогда возможно безконечное исследование, могущее привести к открытию водяных знаков времени. Коль скоро мы, читатели, можем раз за разом рассматривать вымышленное прошедшее, то Набоков может предложить нам испытать приводящий в дрожь восторг открытия нежданных гармоний в событиях книги. «Делая обыкновенные события источником такого поразительного непредвиденного удовольствия и внезапного открытия, Набоков преподает почти невыносимо восхитительный образ бессмертия, которое будет все сплошь состоять из таких открытий»{26}.

Такому нашедшему и занявшему предназначенное ему место читателю достается еще и другое острое и поучительное удовольствие: испытывая достоверность и ясность памяти персонажа книги, он тем самым может изучать природу и характер аберрации памяти, может видеть где, что и как ее подводит, и, может быть, даже дознаться отчего. Это-то и есть одна из главных и самых трудных тем «Пнина».

Даже самое яркое воспоминание теряет свою живость, будучи выставленным напоказ, при изложении, словно бы дневной свет настоящего слегка засвечивал, затуманивал сохраненные в памяти картины, рассматривавшиеся перед тем только в затемненной лаборатории уединенного созерцания. Лишь только частное воспоминание становится общим достоянием, лопаются кое-где тонкие сосуды, соединяющие его с первообразом посредством промежуточных воспоминательных узлов, как бы трансляционных подстанций. В критическом месте последней главы, к которому я скоро перейду, Н. намекает на эту именно опасность, когда признается, что если он и «восстановил в подробностях свои предыдущие впечатления» встреч с Пниным, то это не оттого, что он помнит первоначальные события этих встреч, но помнит, как однажды уже перебирал их в памяти в парижской кофейне в начале двадцатых годов, и теперь хочет «закрепить то, что промелькнуло» у него в голове тогда. Но закрепленное словами воспоминание, даже если слова эти такие, что лучше не подберешь, утрачивает сияние и тепло, а значит, и пропуск в прошлое{27}. Его достоверность тем самым тускнеет, как только и поскольку воспоминание воплощается в слове. Подобранные мастером слова способны обвести, ретушировать, подрисовать, подкрасить и вообще оживить выцветшие воспоминания, но и в самом лучшем случае в

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
сравнении с памятным (некогда) красочным прототипом получается мастерски раскрашенный от руки дагерротип.

В шестой главе вернувшийся домой после вечеринки у Пнина Рой Тэер, который украдкой ведет дневник в рифмованных стихах, записывает следующие интересные строчки:

Мы сидели и пили, и каждый хранил  
Память прошлого в тайне: у каждого был  
Заведен на неведомый в будущем час  
Его участи частный будильник...

В английском подлиннике (где стихи эти, между прочим, записаны линейной прозой) сказано, что прошлое заперто (locked up) в каждом. Если его отпереть, то самая его подлинность делается сомнительной, потому что время, доступное восприятию, есть самая скоропортящаяся вещь на свете.

Каждая глава «Пнина» представляет собою отдельный эпизод, поведенный N., и все они следуют приблизительно одному и тому же плану, которому в более мелком масштабе подчиняется и вся книга. В начале каждой главы мы находим Пнина в благодушном состоянии, решительно не подозревающим о готовящемся для него испытании в виде неудачи или препятствия, неожиданно несчастливого поворота судьбы, многочисленные предупредительные знаки которого он не замечал, хотя их прекрасно видит (и, может быть, расставляет) повествователь N. Облака сгущаются, сцена темнеет, и тут случается это непредвиденное и болезненное происшествие, обычно ближе к концу главы – но никогда в самом конце. В конце же всех шести эпизодов этого как будто объективного изложения Пнин садится за письмо, начало которого: «Позвольте мне подвести итог...», позволяет сделать замечательный по гладкости переход к последней, седьмой главе, где действительно не только подводится итог всему повествованию, но и пересматривается и перефразируется многое из сказанного ранее.

В седьмой главе N. вспоминает случаи, когда судьба сводила его с Пниным – предметом его повести в шести частях. В его рассказе оживает с изумительными подробностями первый такой случай, когда они гимназистами встретились в Петербурге; затем он нашел Пнина уже студентом, в имении своей балтийской тетушки, а затем несколько раз встречался с ним в эмиграции, в Европе и в Америке. Как-то раз в Париже N. решил позабыть Пнина и присутствующих необычайной ясностью и цепкостью своей памяти и рассказал два первых анекдота – «Посещение доктора Пнина» и «Libelei». Однако, к удивлению N. – подлинному или поддельному, другой вопрос, – Пнин «все отрицал», утверждая, что они никогда прежде не виделись.

Нечего и говорить, что мы здесь сталкиваемся с дилеммой капитальной важности для всей причинно-следственной системы романа: сочинил ли N. эти истории? и если сочинил, то, может быть, и все прочие тоже? Или Пнин отказывается признать их потому, что он вообще «неохотно признает свое прошлое»?

И то и другое допущение содержит внутреннее противоречие, ибо и тому и другому можно как будто противопоставить неотразимое психологическое свидетельство обратного, взятое прямо из текста романа. Ведь даже если N. действительно «ужасный выдумщик», неисправимый сочинитель красного словца, мистификатор, стряпающий забавные истории о знакомых ему людях для того только, чтобы похвалиться своей поразительной памятью и удовлетворить своему огромному тщеславию, – даже если это все правда, то нельзя же допустить, чтобы он все это проделывал в присутствии самой жертвы своего вымысла, способного, конечно, тотчас обличить его и тем самым сделать самого выдумщика предметом общего недоумения или даже насмешки. Другими словами, даже если N. человек несовестливый, для чего он станет рисковать оказаться, во всяком случае, в неловком положении в обществе? Неужели все это обман и выдумка?

Повествуя о первой их встрече, N. задается сходным вопросом: «Да неужто я в самом деле помню его бобриком стриженную голову, чуть одутловатое, бледное лицо, красные уши?», и отвечает без малейшего колебания: «Да, помню, и притом отчетливо». Неужели это всего лишь риторический прием или даже прямая ложь? Более того, позже в этой же главе Пнин сам как будто ретуширует прошлое, когда вдруг выпаливает Баракану, сидящему за столом напротив и разговаривающему с N.: «Не верьте ни единому его слову, Георгий Арамович. Он все сочинил. Однажды он выдумал, будто мы в России учились в одной гимназии и списывали друг у друга на

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru экзаменах. Он ужасный выдумщик». Утверждение тем более странное оттого, что Баракан (еще один любовник Лизы до ее замужества, один из нескольких Георгиев, с которыми она сходитя в книге) присутствовал при описанном выше происшествии в парижской кофейне, которое Пнин имеет в виду и во время которого N. ничего подобного не говорил, – напротив, он подчеркнул, что сам он учился в «более либеральной школе».

Но, с другой стороны, если истории N. правдивы, для чего Пнину отрицать их? Ведь ничего особенно обидного, кажется, нет в этой версии отрочества Пнина – ни в этой пятерке с минусом по алгебре, против которой он протестует, ни даже в эпизоде с пьесой Шницлера, несмотря на его очевидную знаменательность: нужно помнить, что их столкновение в Париже происходит еще до того, как N. сошелся с Лизой, будущей женой Пнина, и поэтому какая бы то ни было связь между ролью Пнина в домашней постановке «Libelei» Шницлера (ролью обманутого мужа, по словам N.) и его несчастным браком может быть установлена только если двигаться против течения романного времени, что невозможно ни для Пнина, ни для N. Сверх того, нужно заметить, что Пнин не то что отрицает версию N. начисто, но противопоставляет трем ее конкретным пунктам свои, тоже весьма конкретные, воспоминания. Он уверяет, что в гимназии всегда получал низкие баллы по алгебре, что его отец никогда не знакомил его со своими пациентами и что в пьесе у него была другая роль (скрипача). Но всего удивительнее его утверждение, повторим, что он никогда прежде с N. не встречался. В ясности памяти самого Пнина N. не только не позволяет усомниться, но сам подчеркивает и выставляет напоказ ее замечательную силу в каждой главе своего повествования{28}.

Что все это значит? Один напрашивающийся и оттого сомнительный и плоский ответ состоит в том, что в своем рассказе N. на каждом шагу замечает несходство своего первоклассного детства и буржуазного быта семьи Пнина и вообще склонен противопоставлять недостатки и невзгоды «бедного Пнина» своему избытку и счастью. Это особенно заметно в области английского языка, для Пнина являющегося коварным орудием трудоемкого и полного подвохов общения с обитателями совершенно чужой ему страны, в то время как для N. это богатейшее и чрезвычайно складистое средство художественного выражения, позволяющее ему, между прочим, искусно передать историю первой любви Пнина, его несчастливого брака, его золотого сердца, его неуклюжего английского языка.

Но этот ход рассуждения хотя и кажется на первый взгляд приемлемо-утешительным, не может привести к объяснению ни одного из серьезных противоречий, о которых говорилось выше. Как может N. настаивать, что они с Пниным дважды виделись перед их парижским столкновением, когда Пнин это отрицает категорически? С какой стати Пнин обвиняет N. в том, что он выдумал, будто они учились в одной гимназии и даже списывали друг у друга на экзаменах, когда N. ничего подобного не говорил? Каким образом N. – персонаж книги, играющий роль ее повествователя, – имеет доступ к детским воспоминаниям Пнина, к его грустным раздумьям о смерти в университетском парке, даже к его сновидениям? Наконец, психологически необъяснимо, отчего N. имеет невероятное в описанных им самим обстоятельствах право «опубликовать» эту книгу о Пнине, о его частных скорбях и задушевных мыслях и обо всем прочем – притом книгу, в которой ее герой не умирает (в отличие от практически всех других книг Набокова). На это можно, конечно, возразить, что «Мой бедный Пнин» есть в такой же степени плод созидательного воображения N., в какой весь «Пнин», заключающий в себе и повествователя, и его повесть, есть создание Набокова. Такой взгляд приводит к дурному головокружению, к тошнотворному и очень, в сущности, унылому ощущению итоговой пустоты, когда «все стремится по спирали в туманную относительность»{29}, так что N. становится по отношению к Пнину тем же, чем Красный Король был для Алисы и бабочка для некоего полусонного китайца.

Вопрос о достоверности повести N., а стало быть, и о его благонадежности, есть вопрос крайней важности для всякого, кто желает понять основную структурную тему глубокого залегания. Нельзя же отделаться от мысли, что если Пнин в этом споре прав, то вся история его жизни, изложенная в книге по всей ее длине, должна быть подвергнута пересмотру.

Итак, мы видим, что главная и труднейшая загадка «Пнина» заключается в том, что герой и друг рассказчика отказывается признать правдивым его рассказ о своей жизни. И чем внимательнее читаешь этот рассказ, тем больше странностей в нем замечаешь. Например, в эпизоде в остзейском имении обнаруживается больше внутренних несогласий, чем можно различить на первый взгляд из слов N. В

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru последовательном изложении первых шести глав N. касается этой темы дважды, в первой главе и в пятой. Вот Пнин, в легком приступе галлюцинаций, видит мельком одну из своих балтийских тетушек, в жемчугах и кружевах и белокуром парике, надевавшемся на все представления знаменитого в провинции актера Ходотова, которого она обожала издали, покуда совсем не помешалась в рассудке.

Однако в начале пятой главы N. описывает мимолетное воспоминание Пнина о «том неясном, мертвенном дне, когда он, студент первого курса Петроградского университета, сошел на маленькой станции балтийского курорта...», воспоминание, которое к концу главы доводит его до одного из самых удручающих его полублуждающих состояний. Тут-то мы узнаем, что

Белочкины в это лето [1916 года] снимали дачу на том самом балтийском курорте, возле которого вдова генерала N. сдавала Пниным летний дом на границе своего огромного имения, болотистого и каменистого, где уединенную усадьбу окаймлял темный бор.

Не может ли эта генеральша быть одной из «балтийских тетушек» Пнина, упомянутой в начале романа? Не может: в конце его она оказывается «скучной старой теткой» повествователя, которую его семья навещала «в ее странно уединенном имении недалеко от знаменитого курорта на Балтийском взморье». К тому же N. дальше извещает нас, что Пнин «смутно припомнил» эту внучатную тетку. Мало того, что N. как будто присваивает балтийскую тетушку Пнина, но он еще и делает ее обожательницей Анчарова, «провинциального актера-любителя», вместо «знаменитого в провинции» Ходотова из воспоминания Пнина{30}. Или вот еще одна замечательная странность: у развязного служащего железнодорожной станции Витчерча жена на сносях, и известие о ее предродовых схватках (неподтвердившееся) приводит в действие механизм событий, заканчивающихся первым припадком Пнина, с сопутствующим погружением в ясно видимое прошлое. Этого служащего зовут Боб Горн, и он неожиданно на мгновение превращается в управляющего имением тетки N. Роберта Горна, «развеселого толстячка из Риги... бурно, но некстати аплодировавшего [игре Пнина в пьесе Шницлера]».

Даже твердо помнящему роман читателю здесь легко заблудиться, поэтому сведем основные разногласия двух вариантов этого эпизода, с тем условием допущения, что у Пнина имеется собственная версия своей жизни, которую N. добросовестно излагает в первых шести главах – и опровергает в последней.

Изложение (Глава 1): Версия Пнина

1. У Пнина была балтийская тетка
2. Ходотов, «знаменитый в провинции актер»
3. Роберт Горн, «управляющий имением»

Опровержение (Глава 7): Версия N.

1. У N. была балтийская тетка
2. Анчаров, «провинциальный актер-любитель»
3. Боб Горн, «служащий железной дороги»

Интересно, что в последней главе, то есть изнутри версии N.. Пнин утверждает, что никогда не играл роли рогатого мужа в «Libelei» и не встречался с N. ни тем летом, ни прежде.

Эта заключительная глава вообще отбрасывает длинную, конфузную и даже тревожную тень на предыдущие. Без нее читатель признает всеведение повествователя, механически-послушно принимая на веру то известное условие договора между сочинителем и читателем, которое подразумевает, что привилегии повествователя третьего лица распространяются и на перволичного. Но если этот повествователь сам полагает строгие границы осведомленности о своем предмете, как это делает N. в последней главе, то читатель не может не быть в недоумении.

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Можно, конечно, попытаться натянуть правдоподобно-рациональное объяснение этим и другим противоречиям: N. мог бы набрать разных лакомых подробностей жизни своего героя в Вэйнделе у Гагена, у Клементсов, у Тэеров и уж, конечно, у Джэка Коккереля; многие частые гости Соснового (Шато, Роза Шполянская, Болотов), безусловно, могли бы предоставить сырье для описания лета 1954 года в пятой главе; и не так уж трудно было бы раздобыть сведения, потребные для написания второй половины второй главы (брак Пнина, морское путешествие в Америку, приезд Лизы в Вэйндель) и даже главы четвертой (Виктор Винд). N., «крупный русский писатель», мог бы употребить затем свое мощное воображение, чтобы законопатить зияющие дыры, сочинить недостающие связи и переходы, переименовать все имена, включая имя главного героя, и так далее{31}. Такая книга, которой отлично подошло бы название «Мой бедный Пнин», имела бы вид логической задачи, весьма напоминающей тот странный вид шахматных задач, который называется ретроградным: они решаются путем кропотливой аналитической работы, цель которой – восстановить ход за ходом всю партию, двигаясь вспять, причем нужно тщательно проверять и исследовать разные тематические возможности, как то: неожиданные превращения пешки в более слабые (чем ферзь) фигуры, взятие en passant, утрату привилегии рокировки и замысловатые подкопы и логические ловушки{32}. В таком случае последняя глава являлась бы отправным пунктом: Пнин покидает Вэйндель в то время, как N. в нем поселяется и пишет книгу о жизни и приключениях Пнина.

Этого разряда замысел осуществлен в биографии Севастьяна Найта, написанной его сводным братом В., и не только блестяще осуществлен, но еще и помещен отчасти в условия именно шахматной задачи ретроградного типа: В. начинает свою книгу сразу по смерти Найта (эта фамилия по-английски означает, среди прочего, шахматного коня) и доводит свой рассказ до самой этой смерти, то есть до логической отправной точки исследования жизни человека, одновременно являющегося и последней точкой в повествовании об этом исследовании. И хотя в этой более ранней книге финал тоже бросает странную и тоже очень длинную тень сомнения на весь только что конченный роман (так как неизвестно, кто пишет чью биографию и кто кого сочинил), «Пнин» представляется нам еще более сложно устроенным сооружением. Его спокойное течение беспощадно обманчиво; его освещение фосфоресцирует и мигает; его мощную поверхность там и сям пересекают бездонные трещины подозрительно сейсмического происхождения.

Для сравнения и чтобы испытать всю странность развязки Пнина, вообразим, что в конце «Истинной жизни Севастьяна Найта» мы узнаем, что Клара Бишоп родила двойню (а не умерла родами), что слугу-француза Найта зовут Palechine и что В. впервые увидел своего брата в 1922 году в Париже. Туго натянутую, казавшуюся такой прочной пленку причинно-следственной ткани точно ножом полоснули бы в трех местах, и быстро расширяющиеся эти прорехи побежали бы в разных направлениях, обнажая новые неожиданности.

Едва заметные сдвиги, слабые толчки и легкое дрожание стекол в первой половине «Пнина» сказываются в нечастых и неожиданных вторжениях повествователя в пространство повести; чем дальше в лес, тем они делаются более явными и настойчивыми, особенно в пятой главе, когда Пнин и Шато говорят о N., и в шестой (тема двойника, начинающаяся фразой «Мы с Пниным давно смирились с тем...»), и уже приведенное наблюдение Джоаны Клементс о художественной манере N.). Но землетрясение, происходящее в последней главе, не только разрушает некоторые к тому времени уже установившиеся ходы, но по многим признакам совершенно преобразует всю топографию романа. Однажды прочитав его, серьезный читатель уже никогда не сможет перечитывать, например, сцены «погружения в прошлое» (когда Пнин как бы проваливается под лед настоящего в глубокие воды прошедшего) с тем же ощущением доверия, которое подразумевается и даром дается в обычных романах. Одно дело сознать, что N. пользуется этими приступами Пнина или, лучше сказать, наваждениями (которые он сам на него и наводит) как удобным средством снабжать читателя сведениями о своем герое, как это происходит в нечетных главах (1-й, 3-й, и 5-й), прибегая к заурядным «объективным» ретирадам в прошлое, удаленное в главах четных; но совершенно иное дело открыть для себя при перечитывании этих глав, что, во-первых, очерчивая пределы своей осведомленности, повествователь косвенно признается в том, что вынужден был некоторые эпизоды сочинить – например детскую болезнь Пнина, его любовь к Мире Белочкиной или воспоминания о родителях, всплывающие в каждой нечетной главе; во-вторых, что его герой не признает даже и тех эпизодов своей жизни, которые N. описывает, как будто полагаясь на свою память, а не на воображение, и что он возмущен тем, что N. подделывает его прошлое; в-третьих, что повествователь оказывается весьма неприглядным человеком, высокомерным даже до спеси, холодным,

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
немилосердным, «злым выдумщиком», наконец, в-четвертых, что он прекрасно сознает неустрашимость таких подозрений, возникающих при повторном чтении, учитывает их и, более того, включает их в какой-то далеко ведущий общий план всего романа как составную часть его философской подоплеки!

Нельзя с самого начала книги не видеть, что Н. нарочно оставляет явные признаки своего присутствия и самовластного правления. То тут, то там встречаются ремарки как будто в сторону, а на самом деле прямо в лицо бодрствующего читателя: «Тут уж я его врач» сказано перед тем, как с Пниным случается его первый в книге странный припадок, приводящий в движение караван воспоминаний); «Не думаю, чтобы он кого-нибудь любил» (о Викторе Винде); «О, невнимательный читатель», подталкивая внимательного к легкому решению задачи, которое, однако, оказывается с изъясном{33}, и множество других подобных вторжений и прямых обращений. Кроме того, персона Н. видна и в тематической оркестровке сюжета. Несколько раз в ходе своего повествования Н. показывает, как Пнин, доведенный едва не до отчаяния, подходит чрезвычайно близко к решению загадки своего бытия, но когда остается только руку протянуть, чтобы схватить наконец «ключ к чертежу», спрятанный «злым чертежником... с такой невероятной тщательностью», ключ вдруг превращается в белку или в гирлянду из рододендронов, волнующихся на ветру, которые не только не размыкают «удобопонятного рисунка некогда окружавших Тимофея Пнина вещей», но, напротив, послушно обнаруживают, неведомо для бедного Пнина, тот самый строгий, рассчитанный чертеж, который он ищет (и белка, и рододендроны были в его петербургской квартире и появляются на важнейших перекрестках его жизни в романе). По плану Н., Пнин часто получает искомым ключ, безучастно смотрит на него, вертит его в руках и бросает, пожав плечами, не узнавая его – ибо нельзя ни понимать, ни тем более видеть плана, которого ты сам составная часть.

Набоков об этом именно говорит в своей лекции о Прусте:

Изыскание утраченного времени есть воспроизведение, а не описание прошлого... Это воспроизведение... достигается путем высвечивания некоторых тонко отобранных эпизодов, которые составляют цепочки иллюстраций или образов... Ключ к задаче восстановления прошлого оказывается ключом искусства вообще{34}.

Сложно сплетенная композиция «Пнина» ставит – а способ, которым она обнаруживает себя, подчеркивает и углубляет – основную дилемму, которой читателю приходится серьезно заниматься прежде всех прочих. Ведь невозможно же не задаваться вопросом, особенно при первом чтении, Н. ли выдумал прошлое Пнина, Пнин ли не может узнать его из-под пера Н. В своей французской речи о Пушкине Набоков предлагает два тезиса, которые как будто приложимы и к его собственной художественной системе:

Возможно ли вообразить чужую жизнь в полноте ее действительности, прожить ее в уме и неповрежденной изложить на бумаге? Сомневаюсь; мне даже кажется соблазнительной мысль, что сама мысль, высвечивая историю человеческой жизни, не может ее не деформировать. Поэтому воспринимаемое нами мысленно оказывается не правдой, но правдоподобием... Что с того, в конце концов, что воспринимаемое нами есть лишь колоссальный розыгрыш? Будем откровенны и признаемся, что, если бы мы могли поворотить вспять и прокрасться в пушкинский век, мы бы его не узнали. Так что же! Ведь при этом мы испытываем такое удовольствие, что и самая безжалостная критика (в том числе и та, которой я сам себя подвергаю) не способна его уничтожить.

Набоков затем быстрым шагом проводит по сцене несколько правдоподобных моделей Пушкина – смеющихся, топающих ногами, иных даже верхом, и потом закрывает этот парад и объявляет:

Я очень хорошо знаю, что это не подлинный Пушкин, но актеришка третьего сорта, которому я плачу за игру. Что ж с того! Этот обман меня забавляет, и я нет-нет и забываюсь, и начинаю сам ему верить... Образы эти, вероятно, фальшивы, и настоящий Пушкин в них не узнал бы себя. И однако, если я вливаю в них немного той любви, которую ощущаю, читая его стихи, не сродни ли несколько то, что я произвожу с его воображаемой жизнью, труду поэта – коли уж не самому поэту?{35}

Тема несогласуемого прошлого и обнимает весь роман, и пронизывает его насквозь, и однако, в его пределах кажется невозможным указать причину этого несогласия и даже измерить величину искажения. Эта основная антиномия (тезис Н. против антитезиса Пнина) осложнена еще и тем, что читатель вынужден считаться с версией

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Коккереля, побочного повествователя анекдотов из жизни Пнина, иные из которых совершенно новые, иные же развивают уже известные. Но вследствие того, что некоторые из них противоречат изложению N. тех же самых событий (настолько, что однажды N. даже находит нужным выразить некоторое сомнение в их достоверности{36}), они все оказываются на подозрении. В лучшем случае они кажутся грубыми преувеличениями, в худшем – остроумными выдумками. Здесь нужно не упустить из виду обратную причинную связь: несмотря на то, что истории Коккереля подаются в самом конце, они, конечно, редактированы N. прежде, чем он разместил эти анекдоты в книге, в главах, предшествующих седьмой, но хронологически от нее отправляющихся и от нее зависящих.

Джэк Коккерель представляет Пнина «восхитительно смешно», но при этом у N. остается от этого представления «такое чувство на душе, которое соответствует дурному вкусу во рту», начинающий же читатель остается в недоумении. Пнин въезжает в книгу «не на том» поезде, а выезжает из нее в плюгавом автомобильчике, но последняя фраза романа, принадлежащая Коккерелю, снова сажает читателя на «не тот» поезд. Выдумал ли Коккерель все это происшествие в Кремоне или только приукрасил его для вящего эффекта, как он обыкновенно утрирует жесты Пнина и его английские ошибки? Или, может быть, N. пощадил своего героя и предотвратил окончательную катастрофу (Пнин, в изложении Коккереля, уже стоя за кафедрой, обнаруживает, что у него в руках «не та» лекция), изменив конец версии Коккереля, и, несмотря на свое отвращение к счастливым развязкам, засунул в сюртук Пнина все три рукописи, в том числе и текст лекции, с тем, чтобы ему всегда иметь под рукой ту, что могла понадобиться, «таким образом математически-безусловно предупреждая возможность несчастного случая»?

Ставить такие вопросы, повторяю, необходимо, но на них нет ответа изнутри романа. В конце концов, N. и сам всего лишь персонаж «Пнина», очень важный персонаж, конечно, но все же элемент общего рисунка. А элемент рисунка не может видеть рисунка, хотя может подозревать о его существовании, может в него верить. Его представление о мире, в котором он живет, не имеет никакого особенного познавательного преимущества перед другим обитателем этого же мира, Пниным, его соотечественником в местном и переносном смыслах слова. N. написал превосходную и правдоподобную историю Пнина в шести главах, но в седьмой у читателя создается престранное ощущение зыбкости всей этой истории, словно по мере того, как Пниниана Коккереля делается все более оскомистой и вычурной, сделавшийся к этому времени привычным образ Пнина, с его естественно лысой головой и искусственно загоревшей кожей, полусмешной, полупечальный, – делается вдруг размытым, меркнет, перемещается в тень и становится непривычным, незнакомым; в тень той самой неизвестности, из которой он появляется в первом же предложении первой главы книги. Здесь же, в главе последней, подталкиваемый волшебной палочкой N., читатель начинает сомневаться в достоинстве собранных и усвоенных сведений, ибо источник их сделался сомнителен. Эксцентрический клоун из фарса Коккереля, усевшись на другой конец доски, уравновесил короля-изгнанника из героической фантазии Виктора, – и оба они равно удалены от того подлинного, как казалось, образа Пнина, который мы составили к тому времени и все с большей готовностью узнавали от главы к главе. Теперь этому конец{37}. Теперь его черты сделались неясны, его настоящие свойства неведомы. Причем эта опытом доставшаяся неизвестность тяжелее той невинной, с которой естественно начинается всякое чтение. Эта новая неизвестность, обретенная в конце книги, пропитана недоумением, не видящим себе разрешения. Ведь самые эти сомнительные сведения, почерпнутые в заключительной главе и бросающие такой неверный, отчуждающий свет на все предшествующее повествование, тоже могут быть заподозрены в недостоверности, коль скоро они получены от того же N., то есть посредством того же сомнительного информационного агентства.

И вот, пытаясь придти к какому-то разумному заключению относительно несовместимых версий личности героя, серьезный читатель оказывается к концу книги в замкнутом, логически безвыходном положении, которое пирроники называли ерощё, то есть такого рода философской оторопью, при которой остается только воздерживаться от какого бы ни было суждения, потому что какую сторону ни возьмешь, N. 'а ли, Пнина ли, она станет противоречить себе самой, и, однако, примирить обе их никак невозможно.

Так ли это? Да, так – но только на плоскости повествования. Вырваться из темницы ерощё можно, если перечесть книгу в иной плоскости, с возвышенной точки.

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
У Льюиса Карроля есть одна любопытная логическая задача:

« $q$  включает  $r$ , но  $p$  включает, что  $q$  включает не- $r$ ; что должно отсюда заключить?»{38}

Эту задачу разбирает и решает свящ. Павел Флоренский в одном из приложений к своему знаменитому сочинению, где он излагает ее и описательно:

Истинность суждения или понятия  $r$  с необходимостью вытекает из истинности другого суждения или другого понятия  $q$ , но некоторое третье суждение или некоторое третье понятие  $p$  таково, что из его истинности необходимо вытекает, что из  $q$  не может вытекать  $r$ , как было сказано раньше, а вытекает непременно отрицание  $r$ , то есть не- $r$ ; что можно заключить из такой совокупности посылок?{39}

Флоренский говорит, что задача это не праздная и не искусственная, сочиненная не для забавы и гимнастики ума, склонного к логическим играм. Напротив, она «выдвинута действительной нуждой», хотя сам Карроль при ее решении совершает «ту самую ошибку, в какую обычно впадают при решении ее на практике». А именно:

Если  $q$  включает  $r$ , то невозможно, чтобы  $q$  включало не- $r$ , значит,  $p$  включает в себя невозможное, а следовательно – ложно.

Флоренский показывает, что допустимо, что ложно не  $p$ , а как раз  $q$ , которое включает в себя «зараз  $r$  и не- $r$ , то есть два противоположных суждения или понятия», и дальше решает задачу не от так называемого здравого смысла, а методом символической логики, объясняя и подробно иллюстрируя свое решение. Смысл этого объяснения сводится к тому, что ни суждение  $p$  не нелепо, ни  $q$  не бессмыслица, оба могут быть верны, но только нельзя утверждать одного в присутствии или при наличии другого. «Выражаясь образно, – пишет Флоренский, – можно представить себе, что условие (I) есть показание одного свидетеля, а условие (II) – другого. Третейский судья – здравый смысл, вмешавшийся в этот спор, легкомысленно, заявляет, что либо показания второго свидетеля – в силу его утверждения  $p$ , либо показания обоих – в силу утверждения тем и другим  $q$  – вздор, нелепость. Этими словами „чепуха“, „вздор“, „нелепость“ здравый смысл говорит не то, чтобы кто-нибудь из спорящих лгал или ошибался, – и тогда требовалась бы фактическая проверка показаний одного и другого. Вовсе нет, он попросту говорит, что слова по меньшей мере одного из них бессмысленны и потому не заслуживают никакой фактической проверки, сами себя опровергая. Таким образом, здравый смысл не только не дает правильного решения, но и вообще не дает решения, ибо говорит: „или один, или оба говорят вздор“, но мало того, он, не давая решения, удерживает спорящих от исследования, от фактической проверки своих утверждений, ибо нечего исследовать фактически то, что нелепо уже формально. Тогда оба свидетеля, обиженные таким исходом дела, обращаются к судье более основательному, – к логистике. Этот судья, разобрав дело, выносит приговор вполне определенный, а именно.. не обижая ни одну из спорящих сторон упреком в бессмысленности показаний и даже признавая правоту обеих, судья утверждает, что ни тому ни другому нельзя говорить в те времена и при тех условиях, когда получает силу  $p$ . При наличности  $p$ ,  $q$  отменяется, а во всех других случаях оно – в силе. Права первая сторона, утверждавшая условие (II). Но и та и другая должны усвоить себе, что обычное, повседневное, повсеместное перестает быть таковым в особых условиях, а именно при условии  $p$ » (502–503).

Чтобы не быть голословным, Флоренский приводит два характерных примера, придуманных им специально для иллюстрации вышеуказанного, – о «голубом небе и закате» и о споре рационалиста и мистика о происхождении Священного Писания. Примеры эти призваны показать наглядно, что то, что представляется внутренним противоречием «здравому смыслу», разрешается и гармонизируется в высших областях духовного познания. Противоречия эти не выдуманы, они действительны, но они синтезируются, и тогда, «в состоянии духовного просветления», то есть при условии  $p$ , противоречие отпадает, разрешается само собой.

Мы можем теперь попытаться применить этот алгоритм Карроля – Флоренского к существенной проблеме Пнина, чтобы выбраться из подробно описанного выше тупика ерощё. В любом частном случае взаимопротиворечащих утверждений  $N$  и Пнина мы можем силлогизировать их по модели задачи Карроля. Например, в чрезвычайной важной сцене в парижском кафе Пнин говорит, что никогда прежде не встречал  $N$ , иными словами, что он его в первый раз увидел в 192... году, между тем как  $N$ .

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru утверждает, что они виделись дважды перед тем, в 1911 и 1916 годах. «Какой тут нам поставить диагноз?» – вопрошает Н. по другому поводу.

В терминах задачи Карроля суждение «Пнин познакомился с Н.» = q; «в 192... году» = r; «в 1911 году» = не-r.

Необходимо допустить, что и тот, и другой искренне верят, что говорят правду (выше разбиралось, отчего ни Н., ни тем более Пнин не имеют нужды искажать эти факты). Но что является особенным условием p, которое могло бы нас возвысить над этим противоречием и отменить его? То именно, что Пнин есть персонаж книги Н. о нем, – чего Пнин по существу вещей не может постичь, а если бы мог, то ему дался бы «ключ к разгадке», который он всю жизнь ищет.

Таким образом, можно сказать, что Пнин не встречал Н. до начала двадцатых годов, если только он не является героем книги «Мой бедный Пнин», в каком случае он виделся с Н. два раза перед парижским эпизодом. Эта же трехмерная логика приложима и ко всей сумме их взаимоисключающих утверждений и даже к сумме их отношений, то есть ко всей целиком версии Пнина, как она изложена Н. и отвергается Пниным. В этом случае мы неизбежно приходим к заключению, которое только на первый взгляд кажется парадоксальным, что Н. и Пнин не могут существовать на одном и том же плане бытия: если (и там где) наличествует Н., то (и в этом месте) не должно быть Пнина, – и наоборот. Один словно с необходимостью вытесняет другого, и в конце концов Пнин совсем покидает роман, когда Н. появляется в нем собственной персоной, таким образом выворачивая наизнанку другую интересную головоломку Карроля: «если Аллен здесь, то Карра нет»{40}. Изнутри повести Н. этого ни коим образом нельзя объяснить удовлетворительно. Отчего, например, Пнин отказывается оставаться в Вэйнделе и иметь прочное место на новой русской кафедре, которую Н. намерен учредить? Ответ на этот вопрос как будто напрашивается: оттого, что Н. был любовником Лизы, и оттого, что она пыталась покончить с собой вследствие этой связи, и хотя все это произошло прежде того, как она стала женой Пнина, и хотя Пнин «простил Н.» еще тридцать лет тому назад, он все еще любит Лизу и не может преодолеть брезгливой неприязни к Н. Но такой очевидный ответ был бы недостаточным, так как он не может объяснить, отчего в таком случае Пнин в очень важном и решительном разговоре с Гагеном в конце шестой главы подтверждает, что они с Н. друзья, или отчего он отказывается даже на самое короткое время задержаться в Вэйнделе, чтобы просто увидеться со своим давнишним «другом», а вместо того в спешке покидает город прямо в день своего рождения, да еще в начале нового семестра. Ведь он не избегал его перед тем, в эпизодах, рассказанных Н., то есть произошедших в пересказанном прошлом, за сценой – в последний раз всего тремя годами раньше, в Нью-Йорке, на юбилее Гоголя.

Формула Флоренского предлагает более убедительное истолкование. Пнин испытывает неприязнь к Н. и отвергает его, потому что Н. «ужасный выдумщик», выдумавший персонаж, который воспринимается Пниным как «не-Пнин». Пнин не может знать, но способен ощущать условие p, вернее способен догадываться о существовании чего-то такого в его жизни, что лишает его свободы и тождественной личности.

В плане настоящего времени на территории романа Пнина невозможно видеть в обществе Н. Вот отчего его образ делается все более расплывчатым по мере приближения Н. к месту действия – и совершенно исчезает, когда в последней главе он вступает на сцену как действующее лицо. Квентин Андерсон приходит к тому же выводу, хотя исходит из иной предпосылки: «Когда [Н.] появляется физически, Пнин должен отступить, потому что повествователь есть именно тот элемент, в среде обитания которого Пнин не может существовать». Когда читатель закрывает книгу Н. о «Бедном Пнине», оказывается, что он ничего толком о Пнине не знает. Когда Н. допускает нас в настоящее, или, вернее, только что прошедшее время романа в самом конце последней главы, нам удастся увидеть только дверь, которая за Пниным захлопывается, – «никакого Пнина вовсе и нет».

Но так как и сам Н. – только создание чьей-то фантазии (условие p высшего порядка{41}) и так как при многократном прочтении книги мы совсем не обязаны следовать за Н., но можем наслаждаться видом на лабиринт сверху, с дозорной башни, где обитает настоящий автор всей книги, то возможно допустить существование иного Пнина в книге этого автора (Набокова) – но вне книги Н. На этом уровне все противоречия разрешаются и обращаются в созвучия. На плоскости романа эти противоречия своим существованием указывают на более высокий образ бытия, находящийся за пределом досягаемости сознания персонажей книги. На

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
полярных широтах испытующей мысли такие противоречия могут быть скорее признаком ноуменальной истины, чем ошибкою суждения. Они, может быть, показывают, что человеческий разум, как намагниченная стрелка, беспомощно дрожит и вертится вблизи магнитного полюса. Верный инструмент здесь отказывает и не дает нужного направления, но зато его странное поведение означает, что цель близка, а там компас больше не нужен.

7

Ни один род художественного и научного исследования, опытного или умозрительного, не предоставляет такой исключительно удобной возможности испытать свои сильные подозрения или неясные верования, как ладно сделанный роман. Воссозданный в нем мир соразмерен и хорошо подогнан, нигде нет ни щелей, ни перекосов, все в нем движется гладко, ничто не заедает, его обитатели сделаны по нашему подобию, а их создатель, хотя и вездесущ, но для большинства из них неведом и никому из них невидим. Как возможно, чтобы Пнин не способен был разглядеть очевидной как будто связи между фамилией его убитой немцами невесты (Белочкина) и неизменными появлениями серо-пегой белочки на самых болезненных поворотах его жизни – связи, которую тотчас замечает всякий читатель с начальными сведениями из русского языка? Набоков словно хочет сказать, что мы лишены способности увидеть рисунок своей судьбы, оттого что мы расположены внутри этого рисунка. Самым глубокомысленным его героям, вроде «Вадима Вадимыча» из последнего романа, удается огромным усилием памяти и воли вспомнить и записать важные повторения какой-нибудь одной темы в их жизни, но и они не в состоянии свести эти случаи в единый узор – потому что узор этот, или, лучше сказать, план, расположен не в пространстве, но во времени, или, если угодно, в таком метафизическом пространстве, где время обратимо и доступно ревизии в любой точке своего непротяженного протяжения. Отчего нельзя в свете этих мыслей допустить, что весь роман – включая Пнина как неуловимого, но подлинного, так и правдоподобного, но поддельного, – есть произведение N.? Ведь тогда все несуразности, которые мы пытаемся разрешить и согласовать такими трудоемкими способами, легко объяснились бы причудами и несовершенствами самого повествователя. Однако это было бы неудовлетворительно с художественной стороны, а значит, и с философской. Такая примитивная система книгостроительства совсем не свойственна Набокову. Она отличалась бы по роду от его построений, имеющих часто концентрическую структуру, как, например, в следующем за «Пниным» романе, где надменный повествователь держится в светлой тени своей таинственной поэмы, предоставляя причудливому своему герою самому представиться и себе, и читателю, которому он представляет даже самого этого повествователя от своего якобы первого лица.

Концентрическое устройство «Пнина» несколько напоминает план «Бледного огня». Однако герой «Пнина» выходит из переделки живым, тут нет подсобных предисловий и указателей, и поэтому в отличие от следующего романа «Пнин» допускает как будто только одно истолкование, удовлетворяющее описанному выше философскому принципу, на котором зиждется художественно-метафизический эксперимент, занимавший Набокова всю жизнь и побуждавший его вновь и вновь ставить его, меняя актеров и условия. Как уже было сказано, внутренние противоречия «Пнина», особенно резкие внутри первой и последней глав и между ними (так как это главы с обратной полярностью), не могут быть удовлетворительно объяснены на плоскости самого романа. Чтобы увидеть концентрические круги его плана, нам следует найти и занять возвышенный обозрательный пункт. Что это не иносказание, видно из прямой подсказки, содержащейся в начале пятой главы, где блуждания Пнина по лесу (в автомобиле) читатель видит с большой высоты дозорной каланчи. Бойд пишет о «Бледном огне»:

Как и Шейд, Набоков откровенно и подчеркнuto берет на себя роль распорядителя судеб [своих героев]. Как и Шейд, он понимает, что сила, способная устраивать человеческие жизни, должна быть гораздо выше человеческой, совершенно свыше человеческого разума. Но он чувствовал, что воображение может имитировать эту силу и воссоздать «соответствующий рисунок игры», тем самым уделяя себе, быть может, нечто «от той же радости от устройства игры жизни, что испытывали те, кто в нее играл». Распорядиться судьбами героев для Набокова не значит пользоваться обыкновенной привилегией всякого сочинителя: в тех романах, где это строго рассчитанное устройство человеческой жизни является главной темой, он вмешивается в события с нарочитой назойливостью{42}.

Это очень верное и глубокое наблюдение, с той только поправкой, что Набоков сам ни во что не вмешивается (присутствуя при этом везде в книге, в каждом ее

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru элементе), но посылает вместо себя своего представителя. «Пнин» есть именно такой роман, правда, здесь этот вторгающийся агент сделан язвительным, неуязвимым повествователем, сверх-актером, который, как паук, держится все время на периферии рассказа, им же сплетенного, а в конце быстро-быстро перебегает в самую его середину. Нетрудно заметить, что и в каждом своем романе от первого лица – стало быть, почти во всех своих английских романах – Набоков употребляет посредника, обладающего способностями к художественному сочинительству, соразмерными с трудностью его повествовательной задачи. Из сего следует, между прочим, что в приведенной выше цитате Бойда имя Набокова употреблено не к месту и неудачно, ибо нельзя сказать, что сам автор выступает в роли вершителя судеб в созданном им мире. Набоков всегда и намеренно, а значит и с возможным тщанием, производит посредника – настоящего или, чаще, фальшивого своего наместника, «очередного представителя», повествовательного агента, часто сомнительной нравственности и даже неустановимой личности – и делает это по той важной причине, что, по его убеждению, созданный мир в принципе не может вынести непосредственного прикосновения руки своего создателя.

«Герои Набокова, – по замечанию одного знатока, – галерные рабы, потому что они сознают себя во власти безчеловечных и самодержавных сил»{43}. Но ведь, если позвонить себе очевидное возражение, земные труды человека подобны трудам вымышленных персонажей, хотя бы те были изображены только словесно. Мы вполне можем разрешить задачу бытия Пнина, над которой он бьется в каждой главе своей жизни, но которой ему по самой природе вещей не дано разгадать. У него бывают странные, но небезосновательные подозрения, что он есть жертва манипуляций N. – особенно в первой и последней главах. Но его верования так неопределенны и запутаны, и такой положен предел его познаниям о себе и окружающем, что всякий раз, что он достигает мыслью или интуицией до высшей границы книги, до безконечно малого, но непреодолимого промежутка, отделяющего повесть N. от обнимающего ее сооружения Набокова, – его обволакивает как бы мерцающий туман, из которого он выходит ни с чем – если не считать ощущения, что вот опять упустил что-то крайне важное, подлинное, сердцевинное и как будто не заказанное тебе, доступное, может быть, некоторому еще неиспробованному извороту мысли. Пнин не верит, чтобы люди могли по смерти «соединиться на небесах», и по-своему он прав: эта идея, поскольку она касается вымышленного мира Пнина, не имеет смысла при всей своей привлекательности. Он не верит в «самодержавного Бога», зато он «смутно верил в демократию призраков», и читатель отлично понимает, что это странная и наивная ересь: самодержавная власть автора романа ограничена только естественными законами его бытия, которые его искусство стремится воссоздать как можно тщательнее и правдоподобнее.

8

Если ложные верования героев романа относительно безвредны для них, то неожиданное приоткрытое аксиоматической истины может их совершенно сокрушить. «Самодержавное божество» в романе «Под знаком незаконнорожденных» позволяет Адаму Кругу уловить искру подлинного знания истинного положения вещей и милосердно лишает его рассудка и тем избавляет от страдания, соединенного с такими открытиями. Когда подобное открытие даровано Адаму Фальтеру (в «Ultima Thule»), то его мышление претерпевает коренной перелом, его разум делается непригодным для «земной жизни» и он скоро умирает в лечебнице для сумасшедших. Так в вымыслах Набокова запредельное знание сопряжено с душевной болезнью и смертью и меньшей ценою не достигается (да и этой достигается крайне редко). Иное дело верить в загробную жизнь, и иное знать о ней нечто; и вот в мире искусства Набокова это знание саморазрушительно, ибо оно уничтожает самую идею знания и даже самую идею идеи. Вот отчего Ван Вин, психолог, изучающий слухи и инсказание об ином мире, пишет, что «смешение двух действительностей, одной в одинарных, другой в двойных кавычках, есть признак надвигающегося безумия»{44}.

Незримая, но заботливая рука неизменно останавливает Пнина на последней границе опасного открытия. Кабы не так, героя пришлось бы изъять из повести подобно Адаму Кругу, чтобы не треснула скорлупа романа вследствие онтологической несовместимости двух сред, ведущей к разрушительной деформации. В конечном счете рука настоящего, искусного писателя всегда десная (а N. – левша), и в ней он держит все нити и единовластно манипулирует своими созданиями, и ею заботится о них.

Между прочим, Набоков как будто собирался пойти еще дальше в своем намерении выволить Адама Круга из порочного, влево перекошенного круга романа, возвратив героя «на лоно своего создателя»: в письме к Вильсону января 1944 года он писал,

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

что «к концу книги... станет явной и во весь рост распрямится никогда прежде не применявшаяся идея». Спустя три года Вильсон в одном из своих писем обронил несколько слов, проливающих свет на этот оставленный к тому времени замысел: «Жалко, что Вы отказались от мысли свести Вашего героя с его создателем»{45}. В «Пнине» Набоков находит более сложное применение этой стратегии, помещая между своими персонажами и «собой» посредника – повествователя, близко напоминающего Набокова во многих внешних чертах, но существенно отличающегося от него в важнейших. Поэтому, когда он передает Ковичи сжатое содержание книги, где пишет, что в конце ее сам он, «В. Н.», лично приезжает в Вэйндельский университет с лекцией о русской литературе, в то время как «бедный Пнин умирает», то он как будто нарочно упрощает дело, потому что он, В. Н., всегда остается за кордоном кавычек и никак не может прибыть в «Вэйндельский университет», а «бедный Пнин» никоим образом не умирает, да, по сути дела, и не может умереть.

В недавно минувшем веке, с самого его жестокого и грозного начала, было много раз сказано и пересказано, что «творчество» всякого артиста, и особенно словесного – отливающего эту самую мысль в точные новые формы, – уподобляет его Творцу. Великая и древняя гордость этого тезиса, любимая всеми любителями Бердяева, стала яснее к половине века, когда из него выпростался наследственный ему тезис о том, что быть предметом творения, быть тварью невыносимо и унизительно. Эти-то тезисы и испытываются на многоугольных площадях сочинений Набокова.

Каков же итог этих испытаний? Его лучшим героям дано заподозрить существование спасительной, всеустроительной творческой силы за пределами постижимого, и это подозрение облагораживает их чувство недостаточности, хотя и не может изгнать его совершенно. «Если наши жизни, – пишет Бойд, – упорядочены силою, внешней нам, то эта сила, по-видимому, и создала самый этот порядок посредством человеческой свободы, как оно и происходит в хорошем романе. Упорядочение жизни человека не только не уменьшает ее цены, видимой изнутри ее смертности, но и способно сообщать новое блистательное достоинство наблюдателю, находящемуся вне условий смерти»{46}.

Герои Набокова наделены несколькими неслыханными дотоле преимуществами. Во-первых, среди них часто присутствует переодетый посол их автора, участвующий в перипетиях их судеб в пределах книги. Один из таких гримированных агентов, писатель Вадим Вадимыч N., подвержен пугающим, но вместе с тем многое открывающим видениям, в которых ему показывается тайна образа его существования:

Признаюсь, что в ту ночь, и в следующую, да и некоторое время перед тем у меня было чувство, точно во сне, что моя жизнь – несовершенный близнец, перепев жизни другого человека, ее неудачный вариант, – не знаю, на этой ли земле или на другой какой. Я чувствовал, будто какой-то демон принуждал меня прикидываться этим другим человеком, другим писателем, который был, да и всегда будет, несравнимо лучше, здоровее и безжалостнее, чем покорный ваш слуга{47}.

Чей покорный слуга? Этого «другого писателя», «безжалостно» его сочинившего? Или читателя, собеседника и друга этого сочинителя, читателя, могущего раскрыть книгу жизни «Вадима Вадимыча N.» в любом месте и увидеть в ней то, чего тот знать не может, – в том числе и то, что он более всего хочет узнать, – ее происхождение, конец и смысл?

Другая, связанная с первой, привилегия избранных героев Набокова – особенно тех мучеников, которые загнаны в тиски отчаяния, доведены болью до последних границ разумного существования, – та, что им дается увидеть хоть краешком глаза на мгновение показавшийся плавник того великого открытия, которое читатель Набокова может добыть просто умственным усилием, именно, что в хорошо сочиненном мире персонажи, *sub specie auctoris et lectoris* (то есть под пристальным, внимательным и любящим оком, взирающим из немыслимого далека), – не смертны. В предисловии ко второму изданию «Под знаком незаконнорожденных» Набоков объясняет, что в последней главе «антропоморфное божество», роль которого он на себя взял, испытывает боль от жалости к своему созданию и поспешно вмешивается в ход событий. Круг, пораженный внезапной, как луна в прорыве тучи, вспышкой безумия, сознает, что он в хороших руках: ничто, в сущности, не имеет значения, бояться нечего, и в конце концов смерть – это вопрос стиля, не более чем литературный прием, музыкальное разрешение{48}.

В предварительной и неполной журнальной версии «Пнина», где всякое упоминание об

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
N. снято или приглушено и где нет седьмой главы, имеется, однако, очень важный заключительный пассаж, слог и тон которого приводят на память именно гармоническое разрешение музыкальной пьесы. Разумеется, одно дело поместить такой разъяснительно-лирический финал в заключение предисловия к переизданию трудной и непонятой книги, и совсем другое – завершить им собственно роман, что для Набокова было бы слишком откровенным жестом, ему несвойственным, – и оттого-то, я думаю, в книге этого пассажа нет. Вместо него Набоков переделал конец шестой главы с тем, чтобы она, с одной стороны, гладко присоединялась к седьмой, а с другой – чтобы она собою завершала общую постройку сочинения N., которое здесь и кончается, хотя сам роман «Пнин», как уже было сказано, больше не только этого произведения N., но и суммы составляющих его глав.

Вот этот журнальный finale. Когда Пнин вытер насухо драгоценную вазу (подарок Виктора), чудесным образом не разбившуюся от удара щелкунчика, который Пнин выронил в полный пены раковины с посудой, «нежно и тщательно вода полотенцем по правильно повторявшемуся узору покорного стекла», и поставил ее на «высокую, надежную полку, тогда сознание того, что она [теперь] в безопасности, передалось его душевному состоянию, и он почувствовал, что выражение потерять место сделалось пустым звуком в богатом, кругло-цельном внутреннем мире, где никто, в сущности, не мог причинить ему никакого вреда».

В отличие от Круга, Пнин не лишается рассудка, потому что это его чувство безопасности есть величина скалярная, без направления, без объекта своего приложения. Оно дается ему даром, без уморазадающего сознания того, что он, «Пнин», находится в надежных руках самодержавного «божества», которое заботится о его благополучии из своего немислимого и несказуемого запредельного бытия.

9

Голоса множества критиков, сходящихся на том, что Пнин «самый теплый», «самый доступный», «самый мягкий и гуманный» из всех романов Набокова, образуют на удивление большую капеллу{49}. Некто, знавший Набокова в Корнелле в 1950-х годах, вспоминает следующий характерный анекдот:

На многолюдной вечеринке я вдруг оказался лицом к лицу с [Набоковым]. Чувствуя, что надо же что-то сказать, – хотя мне следовало бы воспротивиться этому позыву, – я сказал ему, что только что прочитал «Пнина» и что он мне очень понравился. Он мог бы просто сказать «Благодарю», но вместо того спросил, «Чем же?» Я сказал (что было правдой), что он мне понравился состраданием, которое я там нашел. Он резко отвернулся, будто ему нанесли оскорбление{50}.

В «Пнине» есть одна интересная черта, которую легко проглядеть. «Необычное тепло», которое ощущает средний читатель, знакомый с искусством Набокова, но, вообще говоря, к нему нечувствительный, по большей части происходит из того незамеченного никем обстоятельства, что «Пнин» единственный из всех романов Набокова, будь то русских или английских, где никто не умирает ни на сцене, ни за сценой, то есть на повествовательной поверхности романа (таким образом, здесь исключаются смерти рассказанные, переданные в косвенном, так сказать, повествовании, как, например, воспоминание о смерти Миры Белочкиной в пятой главе){51}.

Тут нужно сказать, что Набоков переменял свой первоначальный план, по которому Пнин должен был умереть, довольно поздно, когда большая часть книги была уже написана. В 1954 году, излагая этот план своему предполагавшемуся тогда издателю («Викинг»), он упоминает десять глав, в последней из которых «автор» прибывает на место действия «с лекцией о русской литературе, между тем как бедный Пнин умирает, ничего не разрешив, ничего не закончив». Разумеется, он потом передумал – отчасти по настойчивому совету своего друга и редактора «Нью-Йоркера» Катарини Вайт – и не только сохранил своему герою жизнь, но и дал ему покойное и прочное место заведующего русской кафедрой в следующем своем романе. И со всем тем в тексте книги можно видеть приготовительные ступени этого первого плана, которые должны были вести к смертельному исходу Пнина из романа: эти приступы странных спазмов в груди в конце глав первой и пятой или настойчивое напоминание о смерти в строчках Пушкина, звучащих непрерывно у него в голове не то в самый день его рождения, не то в день смерти Пушкина (глава третья): «В волнах ли, в странствии, в бою – или Вэйнделя на краю?»

Любитель «Пнина» был бы неприятно поражен узнав и о том, что Набоков послал в «Нью-Йоркер» первую главу с таким напутствием своему герою: «Это человек не

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
очень милый, но забавный». Этот отзыв кажется тем более странным, что даже в первой главе Набоков всячески старается выставить редкие, достойные, чудесные свойства души Пнина, особенно же его способность сочувствовать другим в разгар собственных невзгод: например, он осведомляется о состоянии беременной жены вокзального служащего после того, как по вине этого человека он упустил последнюю, как казалось, возможность попасть в Кремону вовремя. Но в другом письме (в «Викинг») Набоков объясняет, что имел в виду изобразить «характер комический, внешне непривлекательный, даже гротескный, если угодно, но затем он у меня оказывается, в сопоставлении с так называемыми „нормальными" людьми, гораздо более человеком, – более значительным, а в нравственном плане и более привлекательным человеком... типом в литературе совершенно новым»{52}.

Зная его систему сочинения романов, зная о его столкновении с издателями «Нью-Йоркера», которые пытались редактировать два его рассказа в конце 1940-х и в конце 1950-х годов, зная, наконец, вполне определенно, что он держал в голове план Пнина «в законченном виде» к тому времени, что начал записывать первую главу, – трудно поверить, что Набоков мог так резко изменить свой замысел, да и еще в таком наиважнейшем пункте, как вопрос жизни и смерти главного героя, ради того только, чтобы угодить редактору (хотя бы и доброму своему другу, каким была Катарина Байт) или читателю, который в противном случае – то есть в случае смерти Пнина – будет вместо приятного чувства ощущать «привкус горечи». Отчего же именно «горечи»? Оттого, продолжает издатель, которому Набоков послал свою рукопись, что смерть Пнина, «который является героем книги, придала бы ему подобие чего-то героического, что, по-моему, было бы фальшью. Здесь нет катарсиса, который оправдывал бы жестокость такого конца»{53}.

На одной из высоких точек первой главы N. признается, что иные люди, к числу которых, разумеется, и он принадлежит, «терпеть не могут счастливых развязок. Мы чувствуем себя обманутыми. Поток скорбей в порядке вещей. Нельзя ставить палки в колеса судьбы». Но эта безоговорочная формула N. упраздняется Набоковым в конце первой же главы – как и в конце всего романа, – когда он обезвреживает главные беды Пнина (несмотря на усилия коккереля возобновить их задним числом в самом последнем предложении книги и несмотря на отчаянную попытку N. остановить Пнина при самом его отъезде из романа, на последней границе) и обезпечивает своему герою безопасный выезд из этой книги и въезд в следующую, на постоянное в ней жительство.

Если Набоков действительно имел в виду изъять Пнина в конце, как был изъят Круг, то он, вероятно, передумал вследствие композиционных надобностей, упомянутых выше, положив сделать последнюю главу «музыкальным разрешением» и своего рода путем сообщения этой важнейшей идеи, которую он ранее упомянул Вильсону касательно «Под знаком незаконнорожденных». Финал шестой главы, который нависает над финалом всей книги как готовый сорваться с утеса валун, кажется приманкой, развлечением для пришедших раньше времени зрителей, в то время как главное представление готовится за неподнятым покамест занавесом.

В хорошем романе смерть есть такая же иллюзия, создаваемая чисто техническими средствами, как и иллюзия глубины пространства на плоской картине. Дело не только в том, что «в истории от первого лица лицо не умирает до конца», как выражается Вадим Вадимыч N. в последнем романе Набокова; в известном смысле всякий персонаж бессмертен как «физически» (потому что читатель в силах оживить его, открыв книгу заново для перечитывания), так и метафизически (ибо смерть в литературе есть фигура речи). В конце седьмой главы Пнин в последнюю минуту избегает встречи с N., но он не может изменить ничего в главном чертеже и помешать ходу романа описать полный эллипс, эволюция которого подталкивает читателя начать сначала читать о Пнине, въезжающем в книгу не на том поезде.

Уже говорилось, что, по Набокову, ладный роман можно только перечитать, «или пере-перечитать»{54}. Только при новых путешествиях по тому же маршруту можно пренебречь пунктом назначения, который уж известен наперед, изучен досконально, и вместо того наслаждаться теперь собственно путешествием: видами в раме окна, запахами, маленькими происшествиями в пути, «случайными» попутчиками и всего более неостановимым и гладким поступательным движением судьбоносных линий сюжета жизни. Пнин обречен ехать по нескончаемому, петлеобразному пути, не помня предыдущих своих поездок, – и здесь нет ничего специфически индо-нищеанского. Его существование, его любовь, его страдание, его побег из тюрьмы книги N. (в замкнутое, но яркое пространство книги Набокова) – действительно, хотя и лишены сущности, эмблематичны и подводят к глубоко зарытым тайнам нашего бытия, – но не

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
имеют последствий, испаряются, как сновидения, но и повторяются и преследуют,  
как иные сны, как бы во сне, но без сновидца.

«В каждом его романе, – говорит Аппель, – герои его пытаются убежать из тюрьмы зеркал, силясь приобрести самосознание, которого только их создатель может достичь тем, что создал их – процесс сложный, который ясно указывает, что самого-то автора в этой тюрьме нет»{55}.

Некоторые выводы теории времени и памяти, которой держался Набоков, позволяют как будто бежать из этой зеркальной темницы. Уже было замечено, что различие, которое делает Бергсон между «нарочитым припоминанием... и ничем не принужденным, подлинным воспоминанием, доставляет парадигму для разбора повторяющихся мотивов в „Даре“. Самое наличие тематического чертежа в этом романе и его особенный узор опровергают «тройную формулу человеческого существования: необратимость, неосуществимость, неизбежность», проповедданую его героем и повторенную слабым эхом в его эпитафии. «Грубые механические попытки воссоздать прошедшее, – продолжает тот же критик, – осуществить невозможное или предотвратить неизбежное (конец) противоположны подлинному воспоминанию, мистическому опыту и художественному вдохновению, достигающим соприкосновения с иным измерением»{56}.

Словесное искусство в самых тонких своих формах доставляет наивернейшее средство возратить безвозвратно прошедшее, но оно же безжалостно трет и тратит мнемоническую ткань памяти, потому что извлеченное таким образом («художественным») прошлое размывает первоначальный отпечаток тем более, чем ярче и свежее был контактный оттиск, вынутый из барабана с проявителем, словно бы этот образ, так долго хранившийся в памяти, вылинял от прижатия к нему гигроскопической губки при художественной обработке. Здесь мы имеем одно из тех благородных противоречий, которые щекочат, но и оттачивают чувство сверхпостигаемого: наилучший способ сохранить прошлое уничтожает его этим самым способом. Воображение осуществляет прошедшие события в «настоящем» и усиливается предзреть «будущее» даже до самого его предела, до самого конца. Это все воображаемая действительность, вроде трех квадратов, нарисованных на каждой стороне пифагорейского треугольника с целью доказать известное решение квадратного уравнения. Память есть универсальный инструмент художественной деятельности человека, потому что не только воспоминание, но и воображение и даже попытки предвидения суть воспоминательные акты. Эта мысль находится в самой сердцевине философии «Пнина».

Если долго месить в уме, как тесто, идею о временности всего, то это может привести к тому, что одна стена зеркальной ловушки времени делается на какое-то время довольно прозрачной, так что какой-нибудь Ц., или Трощейкин, или Круг, или Пнин, или Вин, или N. может на мгновение уловить некий образ, или фигуру, вечности – такую невыразимую и невообразимую для заключенных в книге и такую очевидную для зрителей.

Эти мимолетные откровения, от которых слегка развеваются волосы, могут казаться генеральными репетициями перед окончательным *metabasis eis alio genos*, переходом в совершенно иной план и род бытия. Этот-то переход и разыгрывают неумирающие вымышленные лица перед притихшими зрителями из числа смертных.

Г. Б.

О переводчике

Геннадий Барабтарло – уроженец Москвы, эмигрант, профессор русской словесности Миссурийского университета в Америке и автор нескольких книг о Набокове («Тень факта», 1989, «С дозорной башни», 1993, «Сверкающий обруч», 2003) и множества статей о нем, о Богатыреве, Пушкине, Солженицыне, Тютчеве и проч. В 1999 году вышла книга его стихов «На всяком месте». Он перевел на русский язык два романа Набокова и сверх того все его английские рассказы («Быль и убыль», 2001). Помещаемый здесь перевод, впервые напечатанный в Америке в 1983 году, сделан им наново специально для этого издания.

Примечания

1

За возможные частичные или даже дословные совпадения с другими напечатанными за последнее время версиями «Пнина» я никак не могу отвечать, потому что никогда не читал ни одного чужого перевода Набокова (кроме двух-трех страниц «Ады» в двух

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
разных изложениях, по частной просьбе, для сравнительного анализа).

2

Совершенно в духе Набокова, корректурные листы этого предисловия оказались набраны на оборотной стороне отрывка какой-то во всех (кроме этого эффекта recto-verso) отношениях отличной от Набокова фантазмагорической эго-эпопеи, где имеется следующий пассаж, яркой и довольно точной метафорой описывающий мои труды: «Я довольно долго провозился с его замком, поскольку мог действовать лишь одной рукой, прижав контейнер к поверхности стены. Наконец я высвободил крючок, поднял крышку и перенес тяжелый металлический ящик за спину, зацепив крючком воротник своей куртки. Теперь обе мои руки вновь были свободны, и я начал сползать вниз, что оказалось делом еще более трудным, чем предшествовавший подъем».

3

Приставного воротника.

4

Въезд коммунистов и „анархистов" в Америку был воспрещен законом. Остров Эллис в нью-йоркской гавани предназначался для временного содержания эмигрантов, если немедленный их въезд был по какой-нибудь причине затруднен.

5

Рассеянный профессор.

6

«Гамлет».

7

Американцы закладывают ногу на ногу поперек, голенью одной на колено другой, под прямым углом, иногда даже ухватывая и подтягивая к себе лодыжку рукой.

8

Кампусом называется территория университета, весь вообще университетский городок.

9

История в занимательных рассказах.

10

Обставленным пространством.

11

Пнин здесь смешивает довольно глупую английскую поговорку «выпустить кошку из мешка» (со значением невольного или вынужденного раскрытия тайны) с русской о шиле в мешке.

12

В Америке устраивают ежегодные соревнования за звание самой красивой девушки штата.

13

Донимать.

14

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
«Если вы так, то я так, и ваша лошадь летает».

15  
Виноват!

16  
Оставьте меня!

17  
Экстравагантная и фешенебельная.

18  
Констанция Гарнетт перевела на английский язык едва ли не весь корпус серьезной русской беллетристики; Набоков считал ее переводы очень дурными.

19  
Марка американских карандашей (по имени знаменитой крепости на Георгиевом озере в нью-йоркском Эссексе, переходившей из рук колонистов в британские и обратно несколько раз в половине XVIII века).

20  
«Руки прочь от Кореи» по-французски, «Мир победит войну» по-испански и по-немецки.

21  
«Прекрасно», с немецким акцентом.

22  
Пьеса баронессы Эммуски Орци (1905) по ее же роману, о героических приключениях молодых англичан, вызволяющих из беды аристократов во время французского революционного террора 1789–1793 гг.

23  
Ярко-синяя, с металлическим отливом, большая южноамериканская бабочка. Здесь пародия английского выражения «колесовать бабочку», т. е. стрелять из пушки по воробьям (из «Послания к д-ру Арбутноту» Александра Попа).

24  
Sursum corda, горъе имъемъ сердца (возвысим сердца) – молитва в Евхаристическом каноне на Литургии.

25  
Из сборника духовных стихов английского поэта Джона Кебля «Христианский год» (1827).

26  
Психометрическая шкала умственного развития, до недавнего времени весьма распространенная в Америке, предполагает, что выдержать особый логический экзамен выше чем на 140 баллов есть признак интеллекта, близкого к гениальности, а баллы ниже ста указывают на отсталое умственное развитие. Средний балл по всем предметам в американских учебных заведениях исчисляется из ста возможных, причем высшие десять баллов соответствуют диапазону «пятерки», следующие десять – «четверки» и т. д. Таким образом, «90» значит «пять с минусом» по русской шкале.

27

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Т. е. «пепельница» или даже «мусорное ведро» – группа из восьми американских художников, образованная в 1907-м г. в пику преобладавшей академической манере. Две другие «школы» Набоков сочинил («каш-каш» по-французски значит «игра в прятки», а «кан-кан» – несколько разнузданный танец).

28  
Коляска.

29  
Псевдонимом Чернец.

30  
Светотень; этим термином обозначают старую живописную технику контрастного высветления и оттенения.

31  
Набоков, вероятно, имел в виду Sinus Arabicus, как древние называли Красное (Черное) море, тогда как Arabia felix называлась прибрежная часть Аравийского полуострова.

32  
Американцы называют «футболом» разновидность рагби, где эллиптический мяч бросают почти исключительно руками.

33  
Известный род драматической путаницы, где одного принимают за другого.

34  
«Вы понимаете по-французски? Хорошо? Более или менее? Немного?» – «Не совсем много» (Виктор хочет сказать: «Совсем немного», но делает ошибку).

35  
Рекламный девиз одной старой американской матрацной фабрики.

36  
Ядовитые масла, выделяемые этим и сходными растениями, весьма распространенными в Америке, вызывают обильную кожную сыпь, превращающуюся в мучительно зудящие волдыри, часто с жаром и проч.

37  
В подлиннике есть пояснение в скобках: «hautbois, или зеленую землянику». В Петербурге отличали эту продолговатую, зеленоватую, теперь уж не водящуюся ягоду от другой клубники, или «виктории».

38  
Ежегодные конференции этого гигантского общества происходят в больших городах Америки сразу после западного Рождества.

39  
Пнин не замечал, и едва ли когда-нибудь заметит, что чуть ли не в каждом американском доме над гаражом или отдельно на щите подвешена баскетбольная корзина – верный и неременный признак того, что в семье, здесь обитающей, есть, или был, мальчик школьного возраста.

40

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Так называется знаменитая бейсбольная команда из Сент-Луиса.

41

Пнин неправильно произносит английское слово «road» – дорога или улица.

42

В молодые годы.

43

Американский справочник с биографическими сведениями о сколько-нибудь выдающихся современниках.

44

Т. е. Джозеф Мак-Карти, в начале 1950-х годов возглавлявший сенатскую комиссию по расследованию коммунистической контрабанды из СССР, что вызвало смятение и возмущение левой американской интеллигенции, в среде которой было много сочувствующих Советам, а также их добровольных или платных агентов.

45

Cocktail, буквально, «петушиный хвост».

46

Не оттого, что они продрались; эти овальные заплатки ставят нарочно на рукавах нового пиджака, чтобы не протерлись в локтях, – особенный фасон якобы для пишущей братии.

47

Стекло.

48

В большинстве американских учебных заведений общий административный надзор осуществляется советом попечителей, или кураторов, которых в казенных колледжах назначают местные власти (например, губернатор), а в частных – учредители, покровители, благотворители и т. д.

49

Бедняжка!

50

Т.е. cour d'amour, «любовный суд» (в старой европейской литературе), на котором великосветские дамы выносили суждения по вопросам сердечным и куртуазным.

51

Его нет дома, его нет, его вовсе нет.

52

Впервые это эссе появилось по-английски в книге «С птичьего полета» (Aerial View. New York; Bern: Peter Lang, 1993), по-русски – в книге «Сверкающий обруч» (СПб.: Гиперион, 2003).

53

Эта и некоторые последующие цитаты переведены специально для этой статьи и текстуально несколько отличаются от перевода, публикуемого в настоящем издании.

Комментарии

1

Эпиграф: М. С. Эшер. «По приближении к бесконечности». В Эшер-1988: 42.

2

«Нью-Йоркер», где между ноябрем 1953 года и ноябрем 1955-го были напечатаны главы 1-я, 3-я, 4-я и 6-я.

3

Н – в: 282. Я предполагаю, что роман был начат 18 мая, потому что в журнальном варианте первой главы сказано, что это день его рождения (потом Набоков перенес его на 15 февраля).

4

Письмо к Ковичи от 29 сентября 1955 года (ИП: 178).

5

ИП: 156–157.

6

К концу 1980-х годов положение несколько изменилось с появлением работы профессора Леоны Токер (Токер-1989), второй части биографии Бойда и моей книги о «Пнине» (Б-1989).

7

См. Майер-1988: 217. Сюда можно прибавить и четвертого иностранца (первого хронологически) – профессора французской словесности из «Сестер Вэйн», «холодного, нечуткого наблюдателя поверхностных планов бытия» (ИП: 116), одинокую фигуру которого можно разглядеть во французском профессоре из раннего и забытого английского стихотворения Набокова «Изгнанник» («Нью-Йоркер», 24 октября 1942 года, с. 26).

8

Рассуждения Набокова об этом гоголевском приеме изложены в его лекциях по русской литературе (РЛ: 19–23). См. также Гайд-1977 и Б-1989: 16–17, особенно же Приложение А: Действующие лица.

9

См. Б-1989: 15–16, 121–123 и Приложение В.

10

1. «Пнин», 2. «Пнин не всегда был бобылем» (эту главу журнал «Нью-Йоркер» отверг, т. к. она «слишком уж печальная»), 3. «Пнинский день», 4. «Виктор знакомится с Пниным», 5. «Пнин под соснами» (отклонена журналом из-за нескольких антисоветских пинков), 6. «Пнин задает вечеринку», и 7. «Я знал Пнина» (этой главы Набоков журналу не предлагал).

11

Письмо к Кассу Канфильду из издательства «Харпер и его братья» от 8 декабря 1955 года (ИП: 182).

12

РС: 32, 84–85; Б-1989: 190.

13

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Николь-1971: 197.

14  
См. Николь-1971 и Коннолли-1982.

15  
В третьей главе встречается интересное эмблематическое описание этого замкнутого, двойного движения: «По прозрачно-блеклому небу прокатилась эллиптической формы стая голубей, в круговом своем полете казавшаяся то серой (когда они парили), то белой (когда махали крыльями), то снова серой».

16  
лл: 16.

17  
лл: 210, 208.

18  
Роу-1981: 62 и далее.

19  
Бойд-2: 282 и 283.

20  
Б-1989: 243-244; Николь-1971: 202. Дочь Эдмунда Вильсона вспоминает, что как-то раз отец подарил ей эстамп Одубоновского общества ревнителей природы с изображением серых белок, купленный в бостонской антикварной лавке, и потом так привык к нему, что не желал с ним расстаться (Розалинда Бэйкер Вильсон. Рядом с Волшебником (Rosalind Baker Wilson. Near the Magician). Нью-Йорк, 1989, с. 172-173). Легко допустить, что Набоков видел его в имени Вильсона в Велфлите.

21  
Аппель-1967: XXVIII.

22  
Немеров-1957: 314.

23  
ИП: 143 и 178 (письмо к Ковичи от 29 сентября 1955 года).

24  
«Ах, угонят их в степь...» (СТ: 299).

25  
Ср. РС: 143: «Это Ван говорит... что до меня, то я не решил еще, согласен ли я вполне с его взглядом о строе времени. Думаю, что не вполне». Это было сказано в 1969 году. Более позднее его суждение об этом предмете приведено в той же книге на с. 184-186 и в НБ 10, 1983: 45.

26  
Бойд-1985: 186.

27  
Ср. начало пятой главы ДБ: «В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает  
Страница 103

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Так, вкрапленный в начало „Защиты Лужина" образ моей французской гувернантки погибает для меня в чуждой среде, навязанной сочинителем». В окончательном английском варианте все это еще развито и дополнено подробностями.

28

«Я до сих пор слышу, – сказал Пнин, подымая упавшую сахарницу с дырочками и покачивая головой от удивления, что воспоминание может так превосходно сохраняться, – я до сих пор слышу этот тррахх». «И вдруг он с ясностью до смешного пылкой увидел своих родителей». Таких примеров очень много.

29

Грамс-1974: 194.

30

Довольно невероятно, чтобы «богатая старая дева», которую «обхаживал» Анчаров была одновременно балтийской тетушкой Пнина, которая «издалека» была влюблена в актера Ходотова.

31

Иные имена в «Пнине» определенно *parlant*; они вносят нужное соположение в общий тематический рисунок, как, например, в случае с именем невесты Пнина Миры Белочкиной. Или, если взять более мелкий пример, у Джэка Коккереля кокер-спаниеля зовут Собакевичем – и читатель может, если ему угодно, представить себе этого героя метонимически таким чурбаном безчувственным. См. мою статью об этом приеме у Набокова в НБ 48, 2001.

32

Быть может, это и имеет в виду Эрих Винд (который как будто недурно играет в шахматы), когда упоминает этот самый изошренный род шахматной задачи.

33

Б-1989: 121–122, 133–134.

34

лл: 208.

35

«*Pouchkine, ou le vrai et le vraisemblable*» [Пушкин, или Правда и правдоподобие]. In *New York Review of Books*. March 31, 1988: 38–42, – перевод и курсив мои. – Г. Б.

36

«Наконец мы добрались до того эпизода, когда Пнин однажды объявил, что его „отстрелили на месте", меж тем как бедняжка хотел сказать, по словам его подражателя, что его „отстранили от места" – впрочем, сомневаюсь, чтобы мой друг был способен так оговориться». В подлиннике тут игра синонимов *shot – fired*, из которых второй на разговорном американском языке значит еще «лишился места», «был отрешен от должности».

37

В «Аде» встречается удивительная линия соподчиненной мимикрии, весьма сходственная с переменным образом Пнина в представлении Виктора и Коккереля, закрепленном в повести N. Там некая фантастическая, «фантастически редкая» бабочка-нимфалида, *Nymphalis danaus Nab.*, подделывается «не прямо под Монарха,

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
большую рыже-черную бабочку, каждую осень пролетающую огромные расстояния из Северной Америки в Южную, но подражает бабочке-наместнику, одной из известнейших подражательниц Монарха». Коккерель, лучший подражатель Пнина, делает из него фигуру решительно отличную от царственного отца Виктора, и к концу его представления Н. замечает, что «весь этот Пнинский спектакль по какому-то поэтическому возмездию сделался для Коккереля фатальным увлечением того рода, при котором насмешник и его жертва меняются ролями».

38

Ежеквартальный журнал «Mind». Новая серия, т. 14, Лондон, за апрель 1905 г., 292, и за июль того же года, 400–401. Первая заметка, подписанная W., ссылается на предыдущую публикацию по этому поводу в №№ 3 и 53, с. 146. Вторая же представляет собою отзыв Бернарда Расселя о чрезвычайно интересной статье Макколля о «Символическом рассуждении», опубликованной в предшествующих номерах этого журнала. См. Флоренский–1914: 500–505. О.Павел не видел первоначальной журнальной статьи и приводит свою цитату из вторых рук, и оттого неточно, из книги: L. Couturat. Les principes des mathématiques. Paris, 1905. P. 16. Следственно, он, вероятно, не знал, что «трезво-мысленное» решение этого парадокса было предложено не Кутюра, но Расселем, и оно тождественно с формальным решением Флоренского.

39

Флоренский–1914: 505.

40

В своем полном решении парадокса Карроля, напечатанном в указанном выше номере журнала «Mind», Рассель пользуется формулой «Карр вышел, Аллен вошел» (эти два имени слагаются в неполную анаграмму псевдонима Карроля). Сходственное положение имеется в «Бледном огне»: и Шейд, и Боткин сосуществуют на одном уровне под покровом романа Набокова, но Кинбот и его Зембле-подобия или исключают самого Шейда и его мир, или существуют только как плод воображения Шейда, не догадываясь о сем. Кстати сказать, можно предположить, что странные трансцендентальные обмороки Шейда сродни «расширительным» приступам Пнина, т. к. в продолжение тех и других изменяются привычные условия времени и пространства.

41

«Повествователь тоже вымышленная фигура... как и Пнин, он удобочитаем, но не действителен» – см. журнал «New Republic», 4 июня 1966 г., 28, а также Токер–1989: 26.

42

Бойд–1985: 82.– Курсив и перевод мои, – Г. Б.

43

Карроль–1974: 208.

44

Ада: 245.

45

Н–В: 126, 183.

46

Бойд–1985: 83.– Перевод мой, – Г. Б. Сходные мысли (правда, движущиеся в обратном направлении, так сказать) можно найти в знаменитой книге Флоренского, особенно в Девятом Письме (260 и след., а также примечание 495 на с. 738), где он приводит слова вл. Иннокентия (Борисова), Архиепископа Херсонского и Таврического: «Необходимо должен существовать вне нас такой ум, который состоит не в одной способности понимать истину, но обладает такую силою, что может

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
производит все возможные истины из себя самого, который, существуя  
самостоятельно, составляет самое существо истины, объемлет собою всю полноту  
света, любви и жизни. Иначе нигде не было бы, да и не могло бы быть, ни истины,  
ни добра. Иначе основанием всех вещей, всякого познания было бы чистое ничто».

47  
СА: 89.

48  
ПЗ: XVIII.

49  
Например, Николь-1971: 197, или Фаулер-1974: 122.

50  
Джеймс Макконки, в книге Паркер-1984: 31. См. реакцию сына Набокова: «Набоков  
никогда бы не отвернулся, услышав замечание Макконки на шумной вечеринке, что  
тому понравился „Пнин" ощущением сострадания. Набоков не делал тайны из того,  
что сострадание было движущей силою как его самого, так и его книги» (D.  
Nabokov-1985: 14).

51  
Впрочем, можно утверждать, что поэт Подтягин не умирает в «Машеньке», хотя по  
всем признакам его ждет смерть за воротами книги. Но он объявляется мельком  
через два года (романного времени) в «Даре». Однако для читателя первого романа  
Набокова он умер, конечно. И Алферов из той же книги, появляясь на краю «Защиты  
Лужина» в «1929 году», вспоминает, как старый поэт умер у него на руках (ЗЛ:  
227).

52  
Из письма Катарине Байт. ИП: 178 (см. также Бойд-2: 225).

53  
Из ненапечатанного письма Паскаля Ковичи к Набокову от 25 марта 1954 года. Оно  
сохранилось в архиве Набокова, и я цитировал его в английском варианте этой  
книги с любезного позволения вдовы писателя. Ср. Бойд-2: 256-257.

54  
Ср. Хайман-1959: 449.

55  
АЛ: XXXII.

56 НБ 20, 1988: 49-52. См. также Токер-1989: 142-176, о теории памяти Бергсона в  
применении к Набокову. Ван Вин, как помнит читатель «Ады», внимательно изучал и  
разбирал Бергсонову теорию «протяженности» времени и сознательного отношения к  
«действительности».

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

Пнин. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!